

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

ДОЧЬ
ВЕЛИКОГО
ПЕТРА

Николай Гейнце

Дочь Великого Петра

«Public Domain»

1913

Гейнце Н. Э.

Дочь Великого Петра / Н. Э. Гейнце — «Public Domain»,
1913

«Известие о трагической смерти княжны Людмилы Васильевны Полторацкой с быстротой молнии облетело весь Петербург. Несмотря на то что в описываемое нами время – а именно в ноябре 1758 года – не было ни юрких репортеров, ни ловких интервьюеров, ни уличных газетных листов, подхватывающих каждое сенсационное происшествие и трубящих о нем на тысячу ладов, слух о загадочной смерти молодой красавицы княжны, при необычайной, полной таинственности обстановке, пронесся, повторяем, с быстротою электричества, о котором тогда имели очень смутное понятие, не только по великосветским гостиным Петербурга, принадлежавшим к той высшей придворной сфере, в которой вращалась покойная, но даже по отдаленным окраинам тогдашнего Петербурга, обитатели которых узнали имя княжны только по поводу ее более чем странной кончины...»

Содержание

Часть первая. Монастырь или трон?	5
I. Смерть в цветах	5
II. Две записки	9
III. Две Анны Иоанновны	13
IV. Предчувствия сбываются	17
V. Густав Бирон	20
VI. Измена фортуны	23
VII. В Москве	26
VIII. Цесаревна	29
IX. Алексей Разумовский	32
X. Во французском посольстве	36
XI. Помощь Франции	39
XII. Заговор	42
XIII. «Действо»	46
XIV. Императрица	50
XV. Коронация Елизаветы Петровны	54
XVI. Тайный брак	58
XVII. При дворе	62
XVIII. На берегу пруда	65
XIX. Роковая встреча	69
XX. Отец и сын	73
XXI. Честное слово	77
XXII. Искусительница	81
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Николай Гейнце

Дочь Великого Петра

Часть первая. Монастырь или трон?

I. Смерть в цветах

Известие о трагической смерти княжны Людмилы Васильевны Полторацкой с быстротой молнии облетело весь Петербург.

Несмотря на то что в описываемое нами время – а именно в ноябре 1758 года – не было ни юрких репортеров, ни ловких интервьюеров, ни уличных газетных листов, подхватывающих каждое сенсационное происшествие и трубящих о нем на тысячу ладов, слух о загадочной смерти молодой красавицы княжны, при необычайной, полной таинственности обстановке, пронесся, повторяем, с быстротою электричества, о котором тогда имели очень смутное понятие, не только по великосветским гостиным Петербурга, принадлежавшим к той высшей придворной сфере, в которой вращалась покойная, но даже по отдаленным окраинам тогдашнего Петербурга, обитатели которых узнали имя княжны только по поводу ее более чем странной кончины.

Покойная была найдена утром 16 ноября 1758 года мертвой в своем будуаре. Она лежала на кушетке в красном бархатном домашнем капоте, почти сплошь засыпанная цветами. Роскошный букет белых роз лежал у нее на груди. Лицо ее было спокойно, поза непринужденная, и она могла показаться спящей, если бы не широко открытые, когда-то, при жизни, прекрасные, а теперь остановившиеся, черные как уголь глаза, в которых отразился весь ужас предсмертной агонии. Туалет ее был в порядке, и в уютной, со вкусом меблированной комнате не было заметно ни малейшей следов борьбы.

На лице, полуоткрытой шее и на руках не видно было никаких знаков насилия. Ее прекрасные, как смоль черные волосы были причесаны высоко, по тогдашней моде, и прическа, несмотря на то, что княжна лежала, откинув голову на подушку, не была растрепана, sobолиные брови оттеняли своими изящными дугами матовую белизну лица с выдающимися по красоте чертами, а полненькие, несколько побелевшие, но все еще розовые губки были полуоткрыты как бы для поцелуя и обнаруживали ряд белых как жемчуг крепко стиснутых зубов.

Цветы, которыми была осыпана покойница, видимо, были из только что сделанных букетов, так как наутро, когда вошедшая горничная увидела первой эту поразительную картину, они были свежи и благоухали, как бы только что сорванные. Также свеж был и лежавший на груди покойной букет.

На лебединой шее княжны блестело драгоценное ожерелье, а на изящных, точно выточенных руках, переливаясь всеми цветами радуги, блестили драгоценные камни в кольцах и браслетах. В не потерявших еще свой розовый оттенок миниатюрных ушках горели, как две капли крови, два крупных рубина серег. В правой руке покойной был зажат лоскуток бумажки, на котором было по-французски написано лишь три слова: «Измена – смерть любви».

По начатым розыскам со стороны прибывшего полицейского чина было обнаружено, что княжна с вечера довольно рано отпустила прислугу, имевшую помещение в людской – здании, стоявшем в глубине двора загородного дома княжны Полторацкой на берегу Фонтанки, где покойная жила зиму и лето, и даже свою горничную отправила в ее комнату, нахо-

дившуюся в другом конце дома и соединенную с будуаром и спальней княжны проволокой звонка.

Горничная, простодушная девушка по имени Агаша, показала убежденно, что ее сиятельство по вечерам принимала тайком не бывавших у нее днем мужчин и окружала всегда эти приемы чрезвычайной таинственностью, как было и в данном случае.

– Беспременно их сиятельство кого-нибудь ждали, – сказала она уверенно допрашивавшему ее полицейскому чину.

– Ждали, ждали... – передразнил ее тот. – Этого мало... Но был ли кто-нибудь?

– Говори, не то я тебе подновлю память!.. – прикрикнул на нее допросчик.

– Уж таить перед вами, ваше благородие, нечего: у их сиятельства вчера гость действительно был...

– Кто?

– А уж кто, ваше благородие, я не знаю...

– Как не знаешь?

– Да так, слышала я из-за двери голос мужской, а в замочную скважину, как ни старалась, разглядеть не могла.

Видно было, что Агаша говорит совершенно искренно, но это, впрочем, не помешало полицейскому чину пугнуть ее строгой ответственностью за упорное заперительство.

Ретивость полицейского чина, однако, была прервана в самом начале. В дело вмешалась высшая полицейская и судебная власть, но и ей не пришлось долго работать над загадочной смертью княжны Полторацкой.

При докладе об этом происшествии государыня императрица Елизавета Петровна изволила заметить:

– Жаль, жаль, бедную, в цвете лет покончить с собою... Я давно заметила, что она не в полном уме...

Эти высочайшие слова дали направление делу, или, лучше сказать, прекратили его.

Княжна была похоронена по православному обряду на Смоленском кладбище, причем отпевание происходило в кладбищенской церкви. Весь Петербург был на этих похоронах. Говорили даже, что в числе провожатых была сама императрица, скрывавшая свое лицо под низко надвинутым капюшоном траурного плаща.

Тайна смерти княжны Полторацкой, таким образом, до времени была скрыта под толстым слоем земли и поставленным временным большим деревянным крестом.

Только двое людей из великосветского петербургского общества знали более других об этой таинственной истории. Это были два молодых офицера: граф Петр Игнатьевич Свиридов и князь Сергей Сергеевич Луговой.

Накануне дня рокового происшествия в загородном доме княгини Полторацкой в городском театре, находившемся в то время у Летнего сада (в Петербурге в описываемую нами эпоху театров было два – другой, переделанный из манежа герцога Курляндского, находился у Казанской церкви), шла бывшая тогда репертуарной и собиравшая массу публики трагедия Сумарокова – «Хорев».

Часть публики обратила, между прочим, внимание, что два молодых офицера, не дождавшись окончания действия, как сумасшедшие выбежали из зрительной залы. Все заметили, что, сидя недалеко один от другого, они оба очень часто посматривали на ложу, в которой находилась среди других придворных дам княжна Людмила Васильевна Полторацкая.

Молодые люди, как заметили некоторые из публики, подошли друг к другу, сказали один другому несколько слов на ухо и затем быстро вышли. Их поведение, хотя и обратившее на себя внимание лишь немногих, особенно показалось подозрительным бывшему в театре любимцу императрицы Ивану Ивановичу Шувалову, знавшему обоих молодых людей. Он

вышел вслед за ними, и ему удалось догнать их в совершенно пустом, во время действия, коридоре театра.

– Прежде всего одно объяснение, – сказал Свиридов.

– Два, если хотите, – отвечал князь Луговой.

– Ведь вы смотрели на княгиню Полторацкую?

– Да.

– Вы смотрели на нее как-то особенно и, казалось, были удивлены, что я смотрел на нее точно так же.

– Совершенно справедливо...

– Я имею право... – начал было Свиридов, но князь перебил его:

– По всей вероятности, и я имею такое же право смотреть на нее, как и вы?

– Именно это право я и отрицаю.

– А я отрицаю ваше право.

– В таком случае я пришлю к вам секундантов.

– Я к вашим услугам.

– Позвольте, господа! – раздался около них чей-то голос.

Они обернулись и увидели Ивана Ивановича Шувалова.

– Боже, Иван Иванович! – воскликнули они в один голос.

– Да, это я, и мне хочется знать, с какой стати вы даете такой дурной пример публике, ведя себя точно сумасшедшие. Хорошо еще, что не все зрители в зале заметили ваше странное поведение и ваш бешеный выход, иначе, клянусь вам, вы были бы завтра сплетней всего Петербурга. В чем дело, объясните, пожалуйста! Что-нибудь очень важное и таинственное?..

– Да, – прервал его Свиридов, – причина важная... Я уже вызвал князя на дуэль.

– Какая бы ни была причина, я не одобряю такой поспешности. Надо было объяснить.

– Мы уже объяснились.

– Да...

– Здесь, в течение минуты...

– Все это хорошо, но позвольте вам дать добрый совет...

– Говорите, – сказал молчавший до этого времени князь Луговой.

– Я заранее, однако, ничего не обещаю... – заметил Свиридов.

– Можете делать, что хотите, но я вам предлагаю следующее. Пойдемте ко мне, там вы объяснитесь между собой основательно и хладнокровно в моем присутствии. Я ни в чем не буду влиять на ваше решение и выскажу свое беспристрастное мнение. Согласны ли вы?

Оба недавних друга, теперь враги, последовали этому совету.

Дом Ивана Ивановича Шувалова был одним из красивейших домов в Петербурге в Елизаветинское время. Он стоял на углу Невского проспекта и Большой Садовой и сохранился до сегодня. В нем так долго на нашей памяти помещался трактир Палкина, а затем фортепианный магазин Шредера. Дом был выстроен в два этажа, по плану архитектора Кокоринова, ученика знаменитого Растрелли.

Года за четыре до описываемого нами дня Иван Иванович праздновал в нем новоселье великолепным маскарадом, при котором М. В. Ломоносов сказал следующие стихи:

Европа, что родить, что протчи части света,
Что осень и зима, весна и кротость лета,
Что воздух и земля, что море и леса,
Все было у тебя, довольство и краса.

Обстановка комнат была роскошна. Богатые их амфилады были все увешаны портретами и картинками.

Туда-то и отправились все трое из театра, не доглядев представления. Хозяин провел их в угловую комнату с семи окнами, служившую ему кабинетом. В камине ярко пылали дрова и освещали роскошно и комфортабельно убранный уголок знаменитого «любимца Елизаветы». Укромность и уютность, несмотря на огромные размеры комнаты, придавали ей большие шкафы, наполненные книгами, турецкие диваны, ковры и массивные портьеры.

Иван Иванович уселся в покойное кресло у письменного стола. Оба привезенных им молодых человека были еще до такой степени возбуждены, головы их были так бешено настроены, кровь так сильно кипела в венах, что они не могли спокойно оставаться на местах и ходили взад и вперед по комнате, стараясь не столкнуться друг с другом.

Несколько времени в кабинете царила тишина. Мягкий пушистый ковер, которым был покрыт пол кабинета Шувалова, заглушал шум шагов Свиридова и князя Лугового.

– Итак, господа, кто же первый начнет исповедь, – прервал молчание хозяин дома, – я слушаю.

II. Две записки

– Я, – отвечал Свиридов. – Дело очень просто: в течение целого часа князь, как я заметил, не спускал глаз с ложи, где сидела одна дама, причем его взгляды были чересчур выразительны.

– Позвольте, – прервал Шувалов, – нечего облекать все это таинственностью, я очень хорошо знаю в чем дело...

– Во всяком случае, я никого не назвал. Итак, князь Луговой очень пристально вглядывался в даму, которая и не думала отворачиваться от него; я даже заметил, что они обменялись довольно красноречивыми взглядами, это возмутило меня. В то же время дама, заметив, что я на нее смотрю, обернулась в мою сторону и наградила меня такой же прелестной улыбкой, которая разом усмирила мой гнев...

– А меня привела в бешенство! – воскликнул князь Луговой. – Я окинул Свиридова свирепым взглядом.

– Я ответил тем же...

– Мы вышли из зрительного зала, а остальное вы знаете...

– Очень хорошо, но позвольте сделать один вопрос...

– Какой?

– Какое право имел один из вас запрещать другому смотреть на эту даму так, как ему хотелось?

– Но...

– Отвечайте на вопрос.

– Право, приобретенное вследствие исключительных отношений...

– Как исключительных?... – прервал Свиридова князь. – Что вы под этим разумеете?

– Что разумею? Да то, что вы сами разумеете, – отвечал Петр Игнатьевич.

– В таком случае, я нахожусь с ней в таких же отношениях, как и вы...

– Желательно было бы, чтобы вы представили доказательства.

– Боюсь, не будет ли это неделикатно или даже бесчестно. А между тем надо доказать, что действуюешь и говоришь не наобум и что все-таки в человеке осталась хоть капля разума. Впрочем, мы оба находимся в довольно затруднительном положении, и некоторые исключения из общего правила могут быть дозволены.

– К чему это предисловие? – заметил Шувалов.

– Сейчас увидите, – продолжал князь Луговой, вынимая из кармана своего мундира письмо.

Это была маленькая записка, кокетливо сложенная треугольником.

– Это что такое? – спросил Иван Иванович.

– Если здесь говорится о правах, так и я представлю доказательства таких же прав.

Свиридов с любопытством следил глазами за движениями князя. Увидев, что тот вынул из кармана маленькую записку, он стал шарить в своем кармане и вынул такую же, во всем похожую на первую, которую и поднес к документу, представленному его соперником.

Удивление троих собеседником не имело границ. Иван Иванович осмотрел обе записки. Адрес был написан одной и той же рукой.

– Почерк один и тот же, но может быть, что обе записки противоречат одна другой.

– Справедливо! – заметил Свиридов. – Надо проверить. Пусть князь прочитает адресованную ему записку.

– Но ведь это нечестно! – возразил князь Луговой.

– Тут нет ничего нечестного – это исповедь! – отвечал Шувалов.

– В таком случае я начинаю... – с нетерпением сказал Петр Игнатьевич.

И он прочел:

– «Милый Петя, ты не можешь себе представить, как напряженно я все думаю о тебе, когда тебя не вижу. Твое присутствие до такой степени необходимо мне, что, когда тебя нет возле меня, мне кажется, что я одна на свете. Жизнь без тебя точно пустыня...»

– Позвольте! – воскликнул князь Луговой, державший свое письмо открытым.

И он продолжал:

– «Жизнь без тебя точно пустыня, которой я блуждаю, мучимая тоской и грустью...»

– Да ведь это мое письмо! – вскричал Свиридов.

– Совсем нет, мое! – отвечал князь. – Оно даже начинается – «Милый Сережа».

Иван Иванович Шувалов сличил записки. Они были как две капли воды похожи одна на другую.

– Здесь даже не требуется суда Соломона, – заметил он. – Всякому свое.

Князь и Свиридов посмотрели друг на друга, обменялись записками, пробежали их молча глазами и возвратили друг другу, затем снова посмотрели друг другу в глаза и вдруг гомерически расхохотались.

Они оба, скорее, упали, нежели сели на один из диванов, продолжая неудержимо хохотать. Шувалов только смотрел на них. На его красиво очерченных губах тоже играла улыбка.

– Ну, – сказал он им, когда они перестали смеяться. – Стоило из-за этого убивать друг друга? Если бы я не подал вам совета объясниться хладнокровно и обстоятельно, один из вас, быть может, через несколько дней лежал бы в сырой земле. Эх вы, юнцы! Знайте же раз навсегда, что не стоит драться из-за женщины!.. Положим еще, если бы из-за законной жены! Да и то...

– Что теперь нам делать? – спросили в один голос оба соперника.

– Иван Иванович, дайте нам совет, – обратился к Шувалову Свиридов.

– Посоветовать что-нибудь очень трудно... Впрочем, вот что... Садитесь за этот стол, я дам вам карты, и вы, совершенно спокойно, без всякого волнения, всякой ревности, с картами в руках вместо шпаг, можете оспаривать друг у друга вашу возлюбленную и дадите обещание заранее подчиниться велению судьбы.

– Нет сомнения, что это было бы весьма благоразумно, – сказал князь Луговой. – Но в чем же, собственно говоря, состояло бы здесь наказание для этой женщины? Ведь в данном случае необходимо, чтобы порок был наказан.

– Прекрасно, – заметил Иван Иванович с тонкой иронической улыбкой, – но я не вижу здесь добродетели, которая должна бы восторжествовать.

– Перестаньте шутить, Иван Иванович. Во всяком случае, женщина, которая, вследствие обмана и кокетства, готова была причинить такое страшное несчастье, должна потерпеть наказание. Что скажете вы на это, Петр Игнатьевич?

– Дорогой князь, я нахожу это приключение до того смешным и так много хохотал, что не имею решительно никакого мнения...

– Итак, карты вам не нравятся? – сказал Шувалов. – А между тем это было бы средство очень легкое и практическое.

– Нет, – отвечал князь Луговой, – оно мне не по вкусу.

– Есть еще другое средство, а именно – пусть каждый из вас, по обоюдному согласию, обещает никогда не встречаться с изменницей. Увидя, что ее оставили так внезапно, она, быть может, поймет, какую страшную ошибку сделала. Наверное, она почувствует сожаление и некоторого рода тревогу.

– Этого недостаточно.

– В таком случае говорите сами, чего вы хотите?

– Если бы мы пришли к ней с письмами в руках и показали их ей, не говоря ни слова, а затем разорвали их в ее присутствии с величайшим презрением.

– Недурно придумано, – заметил Свиридов.

– Даже очень хорошо, – поддержал Иван Иванович. – Но каким образом приведете вы в исполнение эту удачную мысль? Явитесь ли вы к ней среди бела дня, в гостиной, в то время, когда она, может быть, принимает гостей? Это будет недостойно таких порядочных людей, как вы, и месть будет чересчур сильна.

– Совершенно справедливо, – согласился князь Луговой. – Но я не так выразил свою мысль. Мы явимся тихонько вечером, пройдя в маленькую садовую калитку... Не так ли, Петр Игнатьевич?

– А если калитка будет заперта? – возразил Шувалов.

– Ключ обыкновенно дают нам и, без сомнения, попеременно. У кого ключ сегодня?

– У меня, – вздохнул Свиридов.

– А, теперь понятен ваш гнев! Когда же мы исполним наш план?

– Завтра вечером, князь, если вы не прочь. Мы войдем, когда княжна, верная своим привычкам, отошлет слуг, войдем так, как будто каждый из нас действует для самого себя лично, – украдкой, как двое влюбленных, желающих провести приятно время, тем более что все это совершенная правда.

– Хорошо, завтра.

– Если хотите, я зайду за вами, князь, – сказал Свиридов, – и мы отправимся вместе.

– Прекрасно.

Они ушли и на другой день вечером исполнили свой замысел.

Придя к садовой калитке и убедившись, что набережная совершенно пуста, они воспользовались ключом, отданным Свиридову, и проникли в сад. Ночь была довольно темна, но они знали дорогу, да и к тому же дом был в двух шагах. Боковая лестница вела от угла дома и позволяла его обитателям спускаться в сад, минуя парадную лестницу, выходящую на двор. Они направились к этой лестнице, как будто нарочно устроенной для подобного рода таинственных и любовных приключений. Они поднялись наверх. Лестница была настолько широка, что позволяла идти обоим рядом.

Вскоре они очутились в маленькой передней, хорошо им знакомой, которая была рядом с будуаром княжны Полторацкой. Из этого будуара доносились до них голоса. Они толкнули друг друга и тихо приблизились к двери. Дверь будуара наполовину была стеклянная, но занавесь из двойной материи скрывала ее вполне. Эта занавесь не была, однако, настолько толста, чтобы нельзя было слышать, что говорят в другой комнате.

И действительно, самые нежные уверения в любви и самые страстные ответы на них ясно доказывали присутствие влюбленной пары, воспользовавшейся минутным уединением и тишиной в доме. Увлекательный голос княжны преобладал в этом сентиментальном дуэте. Свиридов и князь Луговой взглянули друг на друга и обменялись следующими фразами:

– С кем она может быть?

– Необходимо узнать; отдерни занавес.

Сказано – сделано. То, что они увидели в приподнятый край портьеры, заставило их сдавленным шепотом воскликнуть в один голос:

– Вот оно что!

Княжна Людмила Васильевна сидела на коленях у красивого брюнета, расточала ему и получала от него самые нежные ласки. Они молча опустили занавес и молча удалились из комнаты и из сада, оставив ключ в замке калитки. Когда на другой день распространились слухи о трагической смерти княжны Полторацкой, первой мыслью князя Лугового и Свиридова было заявить по начальству о их ночном визите в дом покойной. Они зашли посоветоваться к Ивану Ивановичу Шувалову. Не успели они, однако, начать свой рассказ, как «любимец императрицы» перебил их.

– Ее величество, – сказал он, – очень сожалеет, что молодая так рано и так безвременно покончила с собой.

– Покончила с собой! – воскликнули в один голос князь Луговой и Свиридов. – Но ведь...

Шувалов перебил их и продолжал:

– Ее величество сегодня часа два беседовала с близким к покойной человеком...

Иван Иванович назвал лицо, которое Луговой и Свиридов видели в роковую ночь в будуаре княжны Полторацкой. Последние переглянулись.

– Впечатление беседы, – говорил между тем Иван Иванович, – для него было очень тяжелое... Все заметили, что за эти проведенные с глазу на глаз с ее величеством часы у него появилась седина на висках. Завтра утром он уезжает в действующую армию.

III. Две Анны Иоанновны

В один из ноябрьских вечеров 1740 года в уютной и роскошно меблированной комнате внутренней части дворца в Летнем саду, отведенной для жительства любимой фрейлины императрицы Анны Иоанновны, Якобины Менгден, в резном вычурного фасона кресле сидела в задумчивости ее прекрасная обительница.

Этот дворец Анны Иоанновны был построен в 1731 году на месте сломанной деревянной залы для торжеств, сооруженной при Екатерине I по случаю бракосочетания великой княжны Анны Петровны с герцогом Голштинским. Находился он на месте нынешней решетки Летнего сада, выходящей на набережную Невы.

Дворец был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством, которое можно было видеть сквозь зеркальные стекла окон, бывших в то время большою редкостью.

Фрейлина Якобина Менгден была высокая, стройная девушка с пышно, по моде того времени, причесанными белокурыми волосами, окаймлявшими красивое и выразительное лицо с правильными чертами; нежный румянец на матовой белой коже придавал этому лицу какое-то детское и несколько кукольное выражение, но синие глаза, загоравшиеся порой мимолетным огоньком, а порой заволакивавшиеся дымкой грусти, и чуть заметные складочки у висков говорили иное.

Они указывали, что их обладательница, несмотря на свой юный возраст – ей шел двадцать второй год, хотя на вид можно было дать не более восемнадцати – относилась к жизни далеко не с девическою наивностью. Сидевшая была одета в глубокий траур с широкими плерезами. Прекрасные глаза носили следы многодневных слез. Слезы, частью искренние, частью притворные, были делом всех не только живущих во дворце, но и более или менее близких к его сферам в описываемые нами дни. Надо заметить, впрочем, что слезы фрейлины покойной императрицы принадлежали к числу искренних. Она не только оплакивала свою действительно любимую благодетельницу-царицу, но со смертью ее чувствовала, что судьба ее, еще недавно улыбавшаяся ей радужной улыбкой, день ото дня задерживается дымкой грустной неизвестности.

На маленьком столике, стоявшем у кресла, на котором сидела Якобина Менгден, лежало открытое, только что прочтенное письмо от ее сводной сестры, Станиславы Лысенко. В нем последняя жаловалась на своего мужа и просила защиты у «сильной при дворе» сестры.

– «Сильной при дворе...» – с горькой улыбкой повторила Якобина фразу. – Сестра не знает, что произошло здесь в течение месяца с небольшим. Приди письмо это ранее, когда была жива государыня или когда правил государством «герцог», по-отечески относившийся к ней... О, тогда бы, конечно, она не дала бы в обиду Станиславу... Что она такое теперь?... Фрейлина покойной и даже опальной после смерти царицы... Она бессильна сделать что-нибудь даже для себя... а не только для других... Вот ей советуют обратиться к цесаревне... Говорят, впрочем, что ее судьбой хочет заняться правительница... Но все это говорят... А она сидит безвыходно у себя в комнате. О ней все забыли среди придворных треволнений, пережитых окружающими за этот месяц с небольшим...

Треволнений при русском дворе, действительно, было пережито много.

С начала октября императрица Анна Иоанновна стала прихварывать. Это состояние нездоровья государыни, конечно, не могло не отразиться на состоянии духа придворных вообще и близких к императрице людей в частности. Одно обстоятельство усугубляло страх придворных за жизнь государыни, несмотря на то, что случившееся внезапное нездоровье

Анны Иоанновны вначале было признано врачами легким недомоганием и не представляло, по их мнению, ни малейшей опасности, тем более что императрица была на ногах.

Происшествие, случившееся в одну из ночей за неделю до смерти Анны Иоанновны в Летнем дворце, взволновало весь двор, с быстротою молнии распространяясь по Петербургу. Говорили, впрочем, о нем шепотом, так как никому, конечно, не желалось испытать на самом себе прелести «тайной канцелярии».

Вот как рассказывают об этом происшествии современники. Караул, по обыкновению, стоял в комнате, смежной с тронной залой. Часовой был у открытых дверей. Императрица Анна Иоанновна уже удалилась во внутренние покои дворца. Было уже за полночь, и офицер ушел, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой позвал на караул, солдаты выстроились, офицер вскочил и вынул шпагу, чтобы отдать честь. Все видят: императрица ходит по тронной зале взад и вперед, склоня задумчиво голову, не обращая, по-видимому, ни на кого внимания. Весь взвод стоит в ожидании, но наконец странность ночной прогулки по тронной зале начинает всех смущать. Офицер, видя, что государыня не желает идти из залы, решает наконец, пройти другим ходом и спросить, не знает ли кто намерений государыни. Он встречается с герцогом Эрнстом-Иоганном Бироном.

– Ваша светлость, – рапортует он ему, – ее величество изволит уже прогуливаться по тронной зале, и мы в недоумении относительно намерения ее величества.

– Что за вздор, не может быть, – отвечал Бирон, – я сейчас от государыни – она отправилась в спальню ложиться.

– Взгляните сами, ваша светлость, она в тронной зале... – заявляет офицер.

Бирон идет и тоже видит прогуливающуюся государыню.

– Тут что-нибудь не так, – ворчал он, – здесь или заговор, или обман, чтобы действовать на солдат.

Он отправляется к императрице и уговаривает ее выйти, чтобы в глазах караула изобличить самозванку, пользующуюся некоторым с нею сходством, чтобы морочить людей.

Императрица решает выйти, как была, в пудермантеле. Бирон идет с нею. Они ясно видят женщину, поразительно похожую на императрицу, которая нимало не смутилась при появлении последней.

– Дерзкая! – говорит герцог и вызывает весь караул.

Солдаты и некоторые из сбежавшихся придворных слуг видят две Анны Иоанновны, из которых настоящую и призрак можно было отличить одну от другой только по наряду и по тому, что настоящая императрица пришла с Бироном. Императрица, простояв минуту, в удивлении подходит к ней.

– Кто ты? Зачем ты пришла? – спросила она ее.

Не отвечая ни слова, привидение пятится, не сводя глаз с императрицы, к трону, всходит на него и на ступенях, обращая глаза еще раз на императрицу, исчезает. Императрица обращается к Бирону и взволнованным голосом произносит:

– Это моя смерть!

Императрица удалилась к себе. Караул пошел на свои места, а герцог Бирон, задумчивый и встревоженный, отправился в свои апартаменты, находившиеся в том же Летнем дворце.

Ему было о чем встревожиться и над чем задуматься. Высоте положения и почестей, на которой он находился в настоящее время, он был всецело обязан своей государыне, которая только что сказала ему:

– Это моя смерть!

Неизбежность этой смерти предстала теперь перед духовным взором герцога, и в его уме возник вопрос: что принесет ему эта смерть? Ожидаемое ли возвышение почти до власти

русского самодержца или же падение с головокрумной высоты, на которую он взобрался, благодаря судьбе и слепому случаю.

Действительно, его дед в половине XII века был конюхом герцога Якова III Курляндского. Сына этого конюха называли Карлом. Он родился в феврале 1653 года. Уже этот Бирон сделал сравнительно со своим происхождением значительную карьеру. Он изучил охоту и занимал впоследствии довольно видную должность в герцогском ведомстве. Этим он был поставлен в возможность не только вести обеспеченную жизнь, но и открыть своим сыновьям перспективу на такую карьеру, которая была гораздо блестящее той, которую он сделал сам.

Возрастающее значение его второго сына Эрнста-Иоганна при дворе овдовевшей герцогини Анны Иоанновны Курляндской, впоследствии русской императрицы, было поворотным пунктом в счастливой перемене судьбы всей фамилии Биронов. Тогда-то отец и трое его сыновей удачно изменили свою фамилию и из Бюренов (Bühren) сделались Биронами (Biron). Вместе с тем они приняли и герб этой знаменитой во Франции фамилии.

Сыновей у Карла Бирона было трое: Карл, Эрнст-Иоганн и Густав.

Эрнст-Иоганн Бирон, второй сын Карла Бирона, родился 12 января 1690 года. Он и его братья получили в доме отца очень посредственное воспитание. Чтобы восполнить его до некоторой степени, Эрнст Бирон, хотя и малоподготовленный, отправился в Кенигсберг. Прослушав там университетский курс, он поехал в Петербург с целью отыскать себе место, но не нашел такого, которым могло бы удовлетвориться его честолюбие. Он просился в камер-юнкеры при дворе цесаревича Алексея, сына Петра I, и ему было отказано в этом с презрительным замечанием, что он слишком низкого происхождения. Эрнст-Иоганн возвратился в Митаву, где его искание места имело больший успех. Овдовевшая герцогиня Анна Курляндская назначила его в 1720 году своим камер-юнкером. Так как он был очень красив, то вскоре она избрала его в свои любимцы. Соблюдавшая в своей жизни строгое приличие, герцогиня настояла, чтобы Эрнст-Иоганн Бирон женился.

Исполнение этого плана герцогини Анны встретило большие затруднения. Богатые курляндские дворяне не желали принимать в семью человека без имени. Наконец один дворянин согласился на это. Это был Вильгельм фон Трот, прозванный Трейдемом, человек очень хорошей фамилии, но бывший в крайне стесненных обстоятельствах. Он выдал за Эрнста Бирона свою дочь, девятнадцатилетнюю Бенигну Готлибу. Свадьба состоялась в 1722 году.

Таким образом, это желание герцогини было исполнено, но зато другое – видеть своего любимца местным дворянином, чего и сам Бирон сильно добивался, не увенчалось успехом в бытность Анны Иоанновны герцогиней Курляндской. Высокое во всем другом значение герцогини разбивалось о стойкость курляндского дворянства, защищавшего свои права.

Позже, когда Анна Иоанновна вступила на русский престол, дворянство это раскаялось в своем упрямстве – оно само предложило Бирону дворянские права, и он был настолько любезен, что принял это предложение.

В 1726 году жившие еще в Курляндии Анна и Бирон ездили в Россию, где тогда царствовала Екатерина I. Главным поводом поездки были частные дела герцогини, которые Меншиков старался запутать.

Благодаря добрым советам своего любимца, эта поездка для Анны Иоанновны была очень удачна. Впрочем, герцогиня недолго оставалась при русском дворе: малое внимание, оказанное Бирону, заставило ее ускорить свой отъезд в Митаву.

В 1730 году Анна Иоанновна была избрана в императрицы России, и Бирон тотчас же достиг высших почестей. Он начал с того, что сделался камергером, вскоре немецкий император возвел его в графское достоинство; потом он стал обер-камергером и кавалером ордена святого Андрея. За этим последовали знаки отличия от различных дворов, бывших в

союзе с русским. Тогда-то Бирон сделался известен Европе и главе дома, фамилию которого присвоил себе. Герцог Бирон написал лже-Бирону письмо и просил его уведомить, каким образом он имеет честь находиться с ним в родстве. Русский Бирон понял насмешливый тон запроса и вышел из затруднения, вовсе не ответив на письмо. Но, казалось, все сговорились проявить максимум низости для увеличения гордыни этого человека.

После того как Эрнст-Иоганн стал герцогом Курляндии, герцог Бирон прислал в Россию кавалера своего маленького двора с поздравлением своего родственника. Подкупам и интригами русский двор довел дело до того, что в 1737 году, когда вымер род Кетлера, курляндские дворяне сочли за честь избрать в герцоги того, которого они десять лет тому назад не пожелали признать даже только равным себе.

В 1739 году новый герцог получил инвеституру на свою землю через депутацию в Варшаве, у трона короля. В июле того же года германский император, по собственному побуждению, прислал герцогу диплом на титул светлейшего. Гордый Бирон долго не отвечал императору, находя, что этот диплом должен был быть изготовлен гораздо ранее. Таким образом, приобретя небольшие верховные права, Бирон достиг наивысшего ранга среди русских государственных сановников. Его власть в России тоже достигла высшей степени. Его богатство росло ежедневно; его доходы были велики, его пышность спорила с царской, да и немудрено, так как все средства к его обогащению за счет русского народа были в его руках.

Все это прошлое, полное торжества его безмерного честолюбия, омраченное лишь изредка чувствительными его уколами, пронеслось в голове Бирона в то время, когда он возвращался к себе после услышанных им из уст императрицы Анны Иоанновны роковых слов:

– Это моя смерть!

Что принесет ему эта смерть? Себялюбивый и черствый, он не думал в это время об императрице, не только как о женщине, но даже как о друге и благодетельнице. При самых малейших колебаниях его судьбы на первый план выступало его «я», и этому своему единственному богу Эрнст-Иоганн Бирон готов был пожертвовать всеми и всем. Он, конечно, был предусмотрителен и обеспечил сохранение или даже возвышение своего положения на случай смерти императрицы Анны Иоанновны, за которую он сам властно правил государством, но какое-то странное предчувствие говорило ему, что обеспечение непрочное, что будущее все же лежит перед ним загадочным и темным.

IV. Предчувствия сбываются

Предчувствие Анны Иоанновны сбылось – 17 октября ее не стало.

На российский престол вступил Иван Антонович, сын герцога Брауншвейгского Антона и Анны Леопольдовны, а герцог Курляндский Эрнст-Иоганн Бирон был назначен до совершеннолетия его величества, лежавшего в то время еще в колыбели, регентом Всероссийской империи.

Цель временщика, таким образом, была достигнута. Он работал над ее достижением уже давно, то стараясь выдать свою дочь за герцога Брауншвейгского Антона, то предлагая женить своего сына на принцессе Анне Леопольдовне и назначить наследником только что родившегося у них сына Ивана.

Тогда-то и появилась у Эрнста Бирона мысль о регентстве. Пособником временщика явился дипломат Бестужев-Рюмин, которому он дал место несчастного казенного Волынского в Кабинете. Он-то и выручил благодетеля.

Когда Анна Иоанновна умирала, Бестужев первый заявил, что, кроме Эрнста-Иоганна Бирона, «некому быть регентом». Он сочинил даже челобитную, якобы «вся нация герцога регентом желает» – императрица успела подписать бумагу о «полной власти» регента Бирона до совершеннолетия императора Ивана VI.

Тогда к Бестужеву пристали Миних, Черкасский и Остерман. Бирон долго отнекивался, наконец воскликнул:

– Вы поступили как древние римляне!

По смерти императрицы Бирон вступил в управление государством. Но, увы, и его томительное предчувствие в ночь после появления во дворце двойника императрицы Анны Иоанновны должно было сбыться. Появление его в роли регента было последней вспышкой потухавшего огня. Он получил титул «высочества», давал и подписывал от имени императора некоторые дарения членам императорской фамилии, распоряжения о милостях и другие документы, обнародуемые обыкновенно при начале нового царствования. Родители императора не могли сопротивляться. Герцог Антон, не имевший связей на чужой стороне, был, кроме того, труслив от природы и изнежен.

Герцогиня Анна Леопольдовна, которой шел в то время двадцать второй год, была кротка и доверчива, и хотя обладала здравым смыслом и добрым сердцем, но была необразованна, нерешительна, что объясняется забитостью со стороны тирана-отца и грубостью матери, напоминавшей свою сестру Анну Иоанновну. Она ни во что не вмешивалась и проводила целые дни в домашнем туалете с фрейлиной, смертельно скучая. Она не любила мужа, навязанного ей «проклятыми министрами», как она выражалась сама, и занималась лишь тем, что жаловалась на свою судьбу ловкому и красивому Линару, саксонскому посланнику.

Эрнста Бирона она боялась как огня. Он действительно обращался с родителями императора свысока. К тому же они были явно обижены. Регент оставался в Летнем дворце. Ему, обладателю четырех миллионов дохода, назначено было 500 тысяч пенсии, а родителям императора только 200 тысяч.

Герцог Антон, несмотря на свой трусливый нрав, попытался было показать свое значение, но был за это, по распоряжению регента, подвергнут домашнему аресту с угрозой испробовать рук грозного тогда начальника Тайной канцелярии Ушакова. Пошли доносы и пытки за каждое малейшее слово, неприятное регенту, спесь и наглость которого достигли чудовищных размеров. Он громко, не стесняясь, стал говорить о своем намерении выслать из России «Брауншвейгскую фамилию».

Поведение регента стало нестерпимо. На улицах, несмотря на ужасы, творившиеся в застенках Тайной канцелярии, собирались мрачные толпы народа, откуда слышался ропот.

Любимец солдат, оттесненный фаворитом от заслуженного первого места, отважный Миних предложил Анне Леопольдовне освобождение от ненавистного ей регента и получил согласие.

8 ноября 1740 года Эрнст Бирон давал ужин, на котором в числе приглашенных был и фельдмаршал Миних. Хозяин был сердит и рассеян, что не могли не заметить гости, так как, обыкновенно довольно разговорчивый, он в этот вечер, видимо, не находил темы для беседы.

– Скажите, пожалуйста, – обратился он, между прочим, к Миниху, – случилось ли вам когда-нибудь ночью приводить в исполнение смелый и великий план?

Миних в первую минуту был поражен. Он подумал, что ему изменили, и готов был уже броситься к ногам Бирона и сознаться во всем. К счастью, это первое впечатление миновало, он сдержался и решил выждать, не скажет ли регент чего-нибудь еще, из чего можно будет заключить, что он знает или догадывается о судьбе, готовящейся ему. Но Бирон переменял разговор и более не возвращался к заданному Миниху вопросу, видимо сделанному для того только, чтобы что-нибудь сказать.

Фельдмаршал, успокоенный, уехал из Летнего дворца с твердым намерением через несколько часов показать регенту, как должно вести себя, если желаешь исполнить ночью смелый план. Вот как описывает исполнение этого плана в своих записках на французском языке адвокат фельдмаршала Миниха, подполковник Манштейн.

«В последнее воскресенье, приходившееся на 9 ноября, его превосходительство фельдмаршал граф Миних позвал меня к себе в 3 часа ночи. Когда я явился к его превосходительству, мы пошли в Зимний дворец к ее императорскому высочеству герцогине.

Генерал-фельдмаршал сказал ей, что явился, чтобы получить от нее последнее повеление, и приказал мне созвать офицеров стражи. Они явились, и герцогиня со слезами на глазах сказала им, что они, конечно, знают, как герцог-регент обходится с императором, с нею и ее супругом; что регент выказывает относительно ее так много злой воли, что имеет, как должно думать, намерение захватить императорский трон.

– Чтобы предупредить это несчастье, – продолжала Анна Леопольдовна, – я повелеваю исполнять распоряжения генерал-фельдмаршала и арестовать регента.

Все, не задумываясь ни минуты, дали свое согласие. Растроганная Анна Леопольдовна не только допустила всех к своей руке, но обняла каждого из присутствовавших...»

Прямо из Зимнего дворца фельдмаршал Миних с сорока избранными людьми направился в Летний дворец. Не доходя до него, граф Миних послал Манштейна к караулу дворца, заявил караульным офицерам, чтобы они вышли для получения известия чрезвычайной важности. Офицеры охотно последовали за полковником Манштейном, и, когда генерал-фельдмаршал передал им приказание герцогини, они все, как один человек, вызвались повиноваться. Полковник Манштейн отправился с двенадцатью солдатами вовнутрь Летнего дворца и беспрепятственно достиг спальни герцога Бирона.

Он вошел в нее, отдернул полог кровати и громко спросил:

– Где регент?

Герцогиня, увидевшая в спальне постороннего офицера, подняла крик. Герцог тоже вскочил с постели и закричал:

– Стража!

Полковник Манштейн бросился на герцога и держал его, пока не вошли в комнату гренадеры. Они схватили его, а так как он, в одном белье, вырываясь, бил их кулаками и кричал благим матом, то они принуждены были заткнуть ему рот носовым платком, а внеся в приемную, связать. Регента посадили в карету фельдмаршала Миниха с одним из караульных офицеров. Солдаты окружили карету. Таким образом, пленник был доставлен в Зимний дворец. Другой отряд гренадер арестовал Бестужева.

В ту же самую злополучную для Биронов ночь к красивому дому Густава Бирона, брата регента, на Миллионной улице, отличавшемуся от других изящным балконом, на четырех колоннах серого и черного мрамора, явился прямо из Летнего дворца Манштейн с командой. Густав Бирон спал, ничего не опасаясь. Домовой караул, состоявший из двенадцати измайловских гренадер при унтер-офицере, бдительно оберегал любимого своего командира, и часовые сначала не хотели пускать Манштейна. Однако, под угрозой силы императорского указа и смерти за сопротивление, они должны были уступить. Оставив свою команду в первой комнате, где спал бессменный ординарец регентова брата измайловский сержант Щербинин, осторожный Манштейн подошел к дверям спальни Густава и окликнул его.

– Wer ist da? (Кто там?) – послышалось из спальни.

Манштейн, назвав себя, заявил, что ему необходимо переговорить с хозяином дома о чрезвычайно важном, не терпящем отлагательства деле. Густав Бирон, не бегавший ни от каких дел, поспешил выйти к ночному гостю. Они приблизились к окну. Вдруг Манштейн схватил Густава Бирона за обе руки.

– Именем его императорского величества государя императора Иоанна Шестого я вас арестую... – сказал он.

– Что? – воскликнул Густав Бирон. – Меня, брата регента?

– Ваш брат более не регент, а такой же арестант, как и вы!..

– Это сказки, подполковник, – рассмеялся Густав Бирон. Видя, однако, что Манштейн продолжает крепко держать его за руки, начал вырываться, но вошедшая в эту минуту команда, позванная Манштейном, кинулась на Густава, который продолжал отбиваться и звать к себе на помощь.

Тогда солдаты связали ему руки ружейным ремнем, заткнули рот платком, закутали его, полуодетого, в первую попавшуюся шубу, а голову, за отсутствием шапки, обернули солдатскою шинелью и в таком импровизированном костюме вынесли измайловского подполковника на улицу, впахнули в сани, приготовленные заранее, и повезли на гауптвахту Зимнего дворца. Здесь Густав Бирон уже нашел своего брата, герцога, арестованным со всем семейством и сам просидел под стражей до сумерек 9 ноября, когда к дворцовой гауптвахте подъехали два шлафвагена, из которых в одном поместилось все семейство герцога Курляндского, отправлявшегося на ночлег в Александро-Невский монастырь, с тем чтобы на другой день оттуда следовать в Шлиссельбург, а в другой посадили Густава Бирона и увезли в Ивангород. В ту же ночь был арестован и зять герцога Бирона, генерал Бисмарк.

Ввиду того что Густаву Бирону надлежит играть в нашем повествовании некоторую роль, мы несколько дольше остановимся на его личности, тем более что он является исключением среди своих братьев – Эрнста-Иоганна, десять лет терзавшего Россию, и генерал-аншефа Карла, страшно неистововавшего в Малороссии. Густав Бирон между тем был ни в чем не похожим на своих братьев, жил и умер честнейшим человеком и оставил по себе память, свободную от нареканий, вполне заслуженных его братьями.

V. Густав Бирон

Густав Бирон родился в 1706 году в отцовском имении Каленцеем и рос в ту пору, когда отчизна его, Курляндия, пройденная из конца в конец русскими войсками, была разорена войной, залегала пустырями от Митавы до самого Мемеля, не досчитывалась семи восьмых своего обычного населения, зависела и от Польши и от России, содержала на свой счет вдову умершего герцога Анну Иоанновну, жившую в Митаве, и заочно управлялась герцогом Фердинандом, последним представителем Кетлерова дома, не выезжавшим из Данцига и не любимым своими подданными.

Все это, вместе взятое, представляло упадок страны и, разумеется, препятствовало развитию в ней просвещения, которое, доставаясь с трудом местному благородному юношеству, не могло быть уделом детей капитана Бирона.

Таким образом, Густав, воспитываясь в доме родительском, не приобрел ни малейших знаний и, достигнув совершеннолетия, оставался круглым невеждой, что, при ограниченном от природы уме его, не могло, как казалось, обещать ему особенно блестящей карьеры.

Но начать какую-нибудь было необходимо, потому что наследственной мызы не могло хватить на пропитание трех братьев. И Густав задумал вступить на военное поприще, как более подходящее к его личным инстинктам и менее требовавшее именно тех данных, которых Густав не имел от природы и не вынес из своего домашнего воспитания. К тому же военная служба считалась в доброе старое время несравненно почетнее всякой другой и, действительно, скорее выводила людей «в люди».

Вследствие этих соображений Густав Бирон окончательно решил быть военным. Вопрос о том, где проявить будущие свои военные доблести, вовсе не существовал для Густава. По обычаю соотечественников, так сказать, освященному временем, он намеревался искать счастья в Польше, к которой Курляндия состояла с 1551 года в отношениях земельного владения.

Впрочем, кроме обычая, в Польшу манило Густава Бирона и то обстоятельство, что в тамошней королевско-республиканской армии давно уже служил родной дядя его по отцу и туда же недавно определился брат Густава – Карл, бывший до того русским офицером и бежавший из шведского плена, но не обратно в Россию, а в Польшу.

Совместно с этими родичами начал Густав свою военную карьеру и первоначально продолжал ее с горем пополам. Последнее происходило оттого, что Польша, управляемая в то время королем Августом II и Речью Посполитой, была вообще не благоустроеннее Курляндии, беспрерывно возмущалась сеймами, которые, по свидетельству Бандтке, были не что иное, как «скопище крамольников», не уживалась со своими диссидентами, утратила правду в судах, наконец, не воевала ни с кем, что лишало Густава возможности отличиться.

К тому же Густав, наряду со своей армией, недавно преобразованной из военных конфедераций, зачастую получал свое жалованье гораздо позже надлежащих сроков и в этом отношении должен был зависеть от более или менее успешного сбора поголовных дымных, жидовских и других денег, определяемых сеймами, часто расхोdivшимися без всяких определений. Принуждаемый, таким образом, питаться чем Бог послал, Густав не мог ожидать никакого подспорья и из Курляндии, несмотря на возраставшее там значение брата своего Эрнста-Иоганна.

Таково было житье-бытье Густава Бирона в Польше во все то время, пока в Курляндии одинаково неуспешно боролись за герцогскую корону Мориц Саксонский и князь Меншиков, а в России оканчивал и кончил свои баснословные подвиги Петр, которого сменили на престоле Екатерина и другой Петр. С кончиной последнего, в 1730 году, состоялось избрание на русский престол вдовствующей герцогини Курляндской Анны Иоанновны, и судьба

Густава Бирона, тогда капитана польских войск, неожиданно и быстро изменилась к несравненно лучшему.

Его брат Эрнст Бирон стал властным и грозным временщиком у русского престола. Получив его приглашение, братья не задумались оставить Польшу и в том же 1730 году прибыли в Россию, где старший, Карл, из польских подполковников был переименован в русские генерал-майоры, а младший, Густав, капитан панцирных войск польской республики, сделан 1 ноября майором только что учрежденной лейб-гвардии Измайловского полка.

Это последнее назначение имело особый смысл, потому что Измайловский полк, обязанный своим бытием указу 22 сентября 1730 года, был создан, по мысли обер-камергера Бирона, служить ему оплотом против каких бы то ни было покушений гвардии Петра и в этих видах формировался исключительно из украинских ландмилицов, вверенных командованию графа Левенвольда, душой и телом преданного графу Эрнсту-Иоганну Бирону.

Служака по преимуществу, Густав усердно отдался делу, вдохновляемый своим всеильным братом и осыпaeмый милостями государыни.

После смотра 27 января 1732 года императрица пожелала явить брату подданного ей обер-камергера особую высочайшую милость, и 3 февраля, в день именин государыни, был, по сообщению тогдашних «Ведомостей», «обручен при дворе майор лейб-гвардии Измайловского полку господин фон Бирон с принцессою Меншиковою. Обоим обрученным оказана притом от Ее Императорского Величества сия высокая милость, что Ее Императорское Величество их перстни Высочайшею особою Сама разменять изволила».

Странная судьба этой «принцессы» Меншиковой. Внучка русского простолюдина, потом дочь пресловутого князя Ижорского, далее невеста принца Ангальт-Дессауского, затем ссыльная, собственноручно стиравшая в Березове белье, «принцесса» долженствовала теперь сделаться женою сына и внука курляндских конюхов.

Но вдумываться в такую судьбу княжны, конечно, не приходилось нареченному жениху ее, теперь, как и прежде, занятому преимущественно полком и службой. Так и прошел пост.

9 апреля наступила Пасха, 27 апреля состоялся торжественный въезд в Петербург китайского посольства, 28 апреля великолепно отпраздновали годовщину коронавания Анны Иоанновны, а 4 мая Густав Бирон стал мужем княжны Меншиковой, о чем «Ведомости» повествуют следующее: «Заключенное в прошедшем феврале месяце сочетание законного брака между принцессою Меншиковою и господином майором Лейб-гвардии Измайловского полку фон Бироном в прошедший четверток с великою магницею свершилось. Сие чинилось при дворе, и Ее Императорское Величество Всемиловитейшая наша Монархиня обеим новобрачным персонам сию высокую милость показать изволила, что учрежденный сего ради бал по Высокому Ее Императорского Величества повелению до самой ночи продолжался».

В дополнение к этому заметим, что по распоряжению графа Левенвольда на свадьбу Густава Бирона в дом новобрачного приглашены были только те измайловские офицеры, у которых имелись карета или коляска с лошадьми, а провожать Бирона из дома во дворец, в 2 часа дня, дозволялось без исключения, «хотя и пешками и верхами». К дому Густава Бирона был отряжен на время свадьбы почетный караул из гренадеров и четырех мушкетеров при сержанте Гревски. Наконец, в виде заключительного торжества этого брака, у Густава Бирона 19 мая был «банкет» в высочайшем и всех министров присутствии.

Счастливый по-своему, Густав Бирон 17 июня вывел Измайловский полк в лагерь, разбитый на теперешней Конюшенной площади, и тут, среди страстно любимых им удовольствий фронтовой службы, мог еще приятно наслаждаться ожиданием дальнейших, несомненных, казалось, улыбок судьбы.

В самом деле, женитьба Густава Бирона, сделанного 29 июня того же года генерал-адъютантом императрицы, как нельзя лучше устроила его материальное благосостояние. С помощью брата обер-камергера он успел получить из зарубежных банков почти все капиталы князя Меншикова, так, что сыну генералиссимуса, возвращенному из ссылки одновременно с сестрой, едва досталась пятидесятая часть громадного отцовского состояния.

Но та же женитьба оказалась далеко не очень благоприятной для дочери Меншикова, которая, видя в муже человека честного, понимала его ограниченность и крайнюю необразованность и, несмотря на окружающую пышность и богатство, не могла, по словам Бантыш-Каменского, гордиться счастьем, часто вспоминала о последних словах отца, что «не один раз придется ей сожалеть о бывшем изгнании». Хранила как драгоценность в богатом сундуке крестьянскую одежду, в которой была привезена из Березова. Каждую неделю раскрывала она сундук и смотрела на нее.

Впрочем, брачная жизнь бывшей княжны не была для нее положительным несчастьем, потому что Густав Бирон, как известно, чрезвычайно любил свою жену, черноглазую красавицу, не уступавшую прелестями старшей сестре своей, некогда невесте императора Петра II. Потеряв золотое кольцо с жениным именем, Густав объявил приказ по полку, что нашедшему и доставившему пропажу он, кроме цены кольца, выдаст еще четыре рубля.

Наступил 1733 год.

Густав Бирон не принимал никакого участия в военных событиях этого года, касавшихся возведения Россией на польский престол нового короля, Августа III.

За отсутствием всех господ «штапов» (штаб-офицеров) он оставался старшим, то есть командовал Измайловским полком.

В течение того же 1733 года круг родства братьев Биронов увеличился еще одним лицом.

Рудольф-Август фон Бисмарк, уроженец прусской Голландии и генерал-майор русской службы, 14 апреля был обручен, а 15 мая повенчан с фрейлиной Трейден, свояченицей обер-камергера, и, разумеется, стал своим человеком в домах Биронов.

Густав Бирон все более и более преуспевал по службе, поощряемый высочайшими милостями. Вполне довольный, он готовился к большей радости – быть отцом. Но тут судьба, едва ли не впервые, жестоко обманула ожидания Густава Бирона.

VI. Измена фортуны

13 сентября 1736 года красавица жена Густава Бирона, обожаемая мужем, умерла в родах. Вот как описывает погребение дочери Меншикова и скорбь ее мужа леди Рондо, бывшая тогда в Петербурге.

Собрание вошло в залу, где лежало тело покойной. Гроб был открыт. Княгиня была одета только в спальное платье, в котором она скончалась (говорят, что она желала, чтобы ее положили в полном одеянии); это платье было сделано из белой материи, вытканной серебром; голова украшена была прекрасными кружевами и короной, потому что покойная была княжной Римской империи. На челе лежала лента, на которой золотыми буквами означено было ее имя и возраст; на левой руке лежал младенец, умерший спустя несколько минут после своего рождения, одетый в серебряную ткань; в правой руке разрешительная грамота.

Когда все заняли свои места, то вошли слуги проститься с госпожою, младшие впереди. Они целовали ее руку и дитяти, прося прощения в поступках и сопровождая слезы ужасными криками. Затем подходили знакомые, которые целовали умершую в лицо и также плакали навзрыд. Потом родственники, самые близкие. Когда прощался брат ее, то думали, что он совсем опрокинет гроб.

Но трогательнее всего была сцена при прощании супруга. Он сначала отказался присутствовать при этой ужасной церемонии, но герцог приказал ему покориться обыкновению русских, представляя, что он, как явный чужеземец, лишится общего уважения. Его вывели из комнаты два чиновника, которые, впрочем, его более поддерживали, нежели сопровождали. На лице его изображалась скорбь, но скорбь безмолвная.

Войдя в траурную залу, он остановился и потребовал пить. Подкрепившись питьем, подошел к гробу, но здесь упал в обморок. Когда он был вынесен и приведен в чувство, то подняли тело и поставили в открытой карете. За гробом тянулся длинный ряд карет, и, так как покойница была жена генерала, то гроб провожала гвардия. Поезд отправился в Невский монастырь.

Когда ехали по улицам, на гробе лежал парчовый покров, который, впрочем, снят был при входе в церковь. В церкви церемония прощания была повторена еще раз, но муж, едва приведенный в чувство после другого обморока, увезен был домой еще прежде.

После погребения все возвратились в дом Бирона на большой обед, на котором уже больше веселились, нежели скорбели. Казалось, все забыли печальное событие. Муж и ее брат – только двое были сражены действительною скорбью. Он любил ее во все время супружества – это видно было из его обращения с ней. Огорченный потерей любимой жены и скупая невольным одиночеством, Густав Бирон стал подумывать о развлечениях боевой жизни, тем более что случай к ним представился сам собою.

Война России и Турции была тогда в полном разгаре. Ласси уже прислал в Петербург ключи покоренного Азова, а Миних, ознаменовав взятием и разорением Перекопа, Бахчисарая, Ахмечети и Кинбурна первый из своих крымских походов, деятельно готовился к целому ряду последующих. Нет ничего мудреного, если желание Густава Бирона отвесть военного счастья, заявленное всемогущему обер-камергеру, решило участь гвардии в дальнейших подвигах Миниха.

Указом 12 января 1737 года повелевалось командировать к армии Миниха, расположенной на Украине, с каждого гвардейского полка по батальону, а начальником всего гвардейского отряда, к составу которого были причислены три роты конной гвардии, назначен генерал-майор лейб-гвардии Измайловского полка подполковник и генерал-адъютант Густав Бирон. Счастье и успех сопровождали его в войне с турками, он только один раз приезжал в Петербург, но вскоре возвратился обратно на театр военных действий.

7 декабря 1739 года заключен был, как известно, в Белграде выгодный мир для России с Турцией. В Петербурге делались большие приготовления к празднованию этого события.

27 января состоялось торжественное восшествие в столицу частей гвардии, принимавших участие в кампании. День этот, пишет Висковатов, как вообще вся зима того года, был чрезвычайно холодный, но, несмотря на жестокую стужу и сильный пронзительный ветер, стечение народа на назначенных для шествия гвардий улицах было огромное.

Войска входили с музыкой и развернутыми знаменами, штаб- и обер-офицеры, – будем говорить словами очевидца и участника Нащокина, – так, как были на войне, шли с оружием, с примкнутыми штыками; шарфы имели подпоясаны; у шляп, поверх бантов, за поля были заткнуты кокарды лаврового листа, чего ради было прислано из дворца довольно лаврового листа для делания кокард к шляпам, ибо в древние времена римляне, после победы, входили в Рим с лавровым венцом, и то было учинено в знак того древнего обыкновения, что с знатной победой над турками возвратились. А солдаты такие же за полями приткнутые кокарды имели, из ельника связанные, чтобы зелень была.

Пройдя весь Невский проспект, шествие направилось к Зимнему дворцу, следовало по Дворцовой набережной, мимо пресловутого ледяного дома, и, обогнув Эрмитажную канавку, выдвинулось на Дворцовую площадь.

Здесь, по внесении знамени внутрь дворца, нижние чины были распущены по домам, а штаб- и обер-офицеры, повествует Нащокин, позваны ко дворцу, и как пришли во дворец, при зажжении свеч, ибо целый день в той церемонии продолжался, тогда Ее Императорское Величество, наша всемилостивейшая Государыня, в середине галереи изволили ожидать, и как подполковник, со всеми в галереи войдя, нижайший поклон учинил, Ее Императорское Величество изволила говорить сими словами:

– Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне, в надлежащих диспозициях, господа штаб- и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем и через генерал-фельдмаршала Миниха, и подполковника Густава Бирона известна, и будете за службы не оставлены.

Выслушав то монаршее слово, паки нижайше поклонились и были жалованы к руке, и государыня из рук своих изволила жаловать каждого венгерским вином по бокалу, и с тем высокомонаршеским пожалованием отпущены. Это «вошествие», так блистательно показавшее толпе особу Густава Бирона, было прелюдией мирных торжеств, в распорядок которых, между прочим, входила и «курьезная» свадьба придворного шута князя Голицына с калмычкой Бужениновой, отпразднованная в ледяном доме 6 февраля.

Главное же торжество и объявление наград совершилось 14 февраля. Само собою разумеется, что брат герцога Курляндского, преисполненного наградами, не мог быть забыт.

Густав Бирон, командовавший в этот день парадом двадцатитысячного столичного гарнизона, был произведен в генерал-аншефы и получил золотую шпагу, осыпанную бриллиантами.

По самое 18 февраля не прерывались придворные съезды, поздравления, обеды, концерты, маскарады, городские иллюминации, наконец, церковный звон и даже высочайшее метание в народ жетонов, сопровождавшееся поставкою жареных быков с золочеными рогами и фонтанов белого и красного вина, при мгновенном уничтожении которых надрывались со смеха «веселившиеся смотрением из окон дворца». Наконец празднества кончились.

Вскоре общественное внимание было привлечено делом Волынского, окончившемся казнью кабинет-министра. Густав Бирон не принимал ни малейшего участия в этом грустном деле, весь снова отдавшись полку и службе. Гибель Волынского, конечно, не могла не заставить его еще глубже уверовать в несокрушимую мощь своего брата и совершенно успокоиться за свое будущее. Густав Бирон увлекся прелестями фрейлины Якобины Менгден и решился прекратить свое вдовство. В сентябре 1740 года он торжественно обручился с ней.

В жизни Густава эта пора была, конечно, самая приятная. Все тогда ему улыбалось. Человек далеко не старый, но уже генерал-аншеф, гвардии подполковник и генерал-адъютант, Густав Бирон состоял в числе любимцев своей государыни и, будучи родным братом герцога, перед которым единственно трепетала вся Россия, не боялся никого и ничего; имел к тому же прекрасное состояние, унаследованное от первой жены и благоприобретенное от высочайших щедрот; пользовался всеобщим расположением, как добряк, не сделавший никому зла; едва ли, что всего дороже, мог укорить себя в каком-нибудь бесчестном поступке; наконец, в качестве жениха страстно любимой девушки, видел к себе привязанность невесты, казавшуюся страстною.

Чего недоставало невежественному и ограниченному Густаву Бирону, некогда курляндскому разночинцу и десять лет тому назад голяку капитану голодавших польских панцирников? Он ли не мог рассчитывать на долгое и безмятежное пользование благами жизни и случая? Но, увы, как мы знаем, фортуна изменила ему.

Смерть императрицы Анны Иоанновны была началом ударов судьбы, посыпавшихся на Густава Бирона и завершившихся в ночь на 9 ноября, менее чем через два месяца после окончания обручения, арестом и ссылкой.

Разбита была и судьба фрейлины покойной государыни Якобины Менгден, которая хотя и не была особенно страстно, как это старалась показать жениху, привязана к Густаву Бирону, но все же смотрела на брак с ним как на блестящую партию, как на завидную судьбу. И вдруг все рушилось разом, так быстро и неожиданно.

Мы застали в одной из предыдущих глав нашего правдивого повествования бедную несчастную невесту, забытую всеми, в ее фрейлинском помещении в Летнем дворце, из которого только за несколько дней перед этим увезли регента, герцога Эрнста-Иоганна Бирона.

Положение молодой девушки было действительно безвыходно. В течение какого-нибудь месяца она лишилась всего и уже подумывала поехать к своей сводной сестре Станиславе Лысенко, о которой хотя и не получала сведений за последние годы, но знала, что она замужем за майором Иваном Осиповичем Лысенко, жившим в Москве. Там, вдали от двора, где все напоминало ей ее разрушенное счастье, надеялась она отдохнуть и успокоиться.

Каково же было ее огорчение, когда она в описанный нами день получила от Станиславы письмо из Варшавы, в котором та уведомляла ее, что она уже более года как разошлась с мужем, который отнял у нее сына и почти выгнал из дому. Она просила «сильную при дворе» сестру заступиться за нее перед регентом и заставить мужа вернуть ей ребенка. Таким образом, и это последнее убежище ускользало от несчастной Якобины.

— Что-то будет, что-то будет! — с отчаянием шептали ее губы, и слезы то и дело неудержимо лились из ее прекрасных глаз.

VII. В Москве

В тот самый день, когда фрейлина Якобина Менгден получила письмо от своей сводной сестры Станиславы, разрушившее надежды на московское гостеприимство, в Москве, на Басманной у окна небольшого, в пять окон, деревянного дома, окрашенного в серый цвет, принадлежавшего майору Ивану Осиповичу Лысенко, стоял сам хозяин и глядел на широкую улицу.

Это был высокий, полный человек с некрасивыми, выразительными чертами лица, сильный брюнет с черными глазами – истый тип малоросса. Лицо его было омрачено какой-то тенью, а высокий лоб покрыт морщинами гораздо более, чем обыкновенно бывает у людей его лет. Одет он был в армейский мундир, но и без того, по одной осанке, можно было безошибочно узнать в нем военного.

На дворе моросил дождь, точно мелкой сеткой спускаясь с неба, широкая улица была грязна и неприятна.

– Какая нынешний год поздняя осень, – сказал он, обращаясь к стоявшему подле него мужчине, одетому в штатское платье, – такая же неприятная осень бывает и в человеческой жизни...

– Только не в твоей! – заметил собеседник. – Ты еще посредине жизненного пути, в самом расцвете сил.

– По годам – да, но мне почему-то кажется, что старость наступит для меня раньше, чем для кого-нибудь другого... Я частенько чувствую себя совершенно по-осеннему.

Слушавший его мужчина с неудовольствием покачал головой. Он был среднего роста, худощавый и несколько старше Ивана Осиповича.

– Ты, Иван, слишком серьезно относишься к жизни, – с упреком произнес он, – и вообще, ты страшно переменился за последние годы. Никто из знавших тебя молодым, веселым офицером не узнал бы теперь. И отчего, скажи на милость! Гнет, тяготевший над твоей жизнью, ты окончательно решился сбросить. Служба совершенно по тебе, так как ты душой и телом солдат, тебя отличают при каждом удобном случае, в будущем тебя, наверное, ждет важный пост, дело твое с женой идет на лад и сын, наверное, останется при тебе, по решению духовного суда.

Иван Осипович молчал и, скрестив руки, продолжал смотреть в окно.

– Мальчик стал просто красавцем за последние годы, я был положительно поражен, когда увидел его. При этом ты сам говорил мне, что он необыкновенно богато одарен от природы и обладает выдающимися способностями.

– Я предпочел бы, чтобы у Осипа было меньше способностей, но больше характера и серьезности. Ты не можешь себе представить, Сергей, к какой строгости мне приходится прибегать, чтобы как-нибудь справиться с ним.

– Боюсь, что ты немного и добьешься при всей твоей строгости. Хотя ему всего восемь лет, но уже теперь видно, что для военной службы он не годится.

– Он должен годиться! Это единственное возможное поприще для такой разнузданной натуры, как его, которая не признает никакой узды и каждую обязанность считает тяжелым ярмом, которое старается сбросить. Сдерживать его может только железная дисциплина, которой он волей-неволей должен будет подчиняться на службе.

– Едва ли она его сдержит. Не обманывай себя, к сожалению, все это – наследственные склонности, которые можно подавить, но не уничтожить. Осип и по внешности совершенный портрет матери, у него ее черты, ее глаза.

– Да, – мрачно произнес Лысенко, – ее темные, демонические, огненные глаза, которым все покорялось...

– И которые были твоим несчастьем, – закончил Сергей Семенович Зиновьев, – таково было имя, отчество и фамилия товарища и друга детства Ивана Осиповича Лысенко.

Последний продолжал молчать.

– Как я ни предостерегал тебя тогда, но ты ничего знать не хотел, страсть овладела всем твоим существом, точно горячка. Я никогда не мог этого понять.

На губах Лысенко промелькнула горькая улыбка.

– Верю... Ты холодный, рассудительный чиновник и придворный, старательно рассчитывающий каждый свой шаг, – ты застрахован от подобных чар...

– По крайней мере, я был бы осторожнее при выборе... Твой брак с самого начала носил в себе зародыш несчастья: женщина чуждого происхождения, чуждой религии, дикая, капризная, бешеная польская натура, без характера, без понятий о том, что мы называем долгом и нравственностью – и ты, со своими стойкими понятиями о чести, – мог ли ты иначе кончить подобный союз?... А между тем, мне кажется, что ты, несмотря ни на что, продолжал любить ее до самого разрыва.

– Нет, – резко ответил Иван Осипович, – очарование улетучилось уже в первый год. Я слишком ясно видел все, но меня останавливала мысль, что, решившись на развод, я выставлю напоказ свой домашний ад; я терпел до тех пор, пока у меня не оставалось другого выхода, пока... Но довольно об этом.

Он быстро отвернулся и стал снова смотреть в окно, но в этой резко оборвавшейся речи слышались с трудом скрываемые муки.

– Да, немало нужного для того, чтобы вывести из себя человека, подобного тебе, – серьезно заметил Зиновьев. – Но ведь развод освободил тебя от железных цепей, и тебе следует уже теперь похоронить самое воспоминание о них...

Лысенко мрачно покачал головой.

– Подобных воспоминаний нельзя похоронить, они постоянно восстают из мнимой могилы... Да и развод еще не кончен, и сегодня...

Он вдруг замолчал.

– Сегодня, что сегодня?

– Ничего. Поговорим о чем-нибудь другом. Итак, ты уже три дня в Москве. Надолго ты приехал?

– Недели на две... У меня в распоряжении немного времени. В Петербурге перемена за переменной. Слышал?

– Слышал, но хочу подробностей...

Приятель уселся в кресла, и майор приказал подать трубки. Когда они задымились, Сергей Семенович подробно стал рассказывать о последних событиях в Петербурге, уже известных читателям. После окончания рассказа разговор как-то невольно перешел снова на болезную тему – на жену Ивана Осиповича.

– Она уехала в Варшаву?

– Да, там у нее родные...

– Значит, она потеряла надежду выиграть дело?

– Какая же может быть у ней надежда?

– Но если она вернется и пожелает видиться с сыном?

Глаза майора блеснули зловещим огнем.

– Я никогда не допущу этого. Да и она не пожелает этого потребовать после того, что произошло. Она вполне узнала меня в тот час, когда мы расстались. Она побоится второй раз доводить меня до крайности.

– Но она может помимо тебя, тайно, достичь того, в чем ты отказываешь ей открыто...

– Это невозможно. Я зорко слежу за ним, у меня надежные слуги...

Зиновьев, казалось, не разделял эти убеждения; он сомнительно покачал головой.

– Признаться откровенно, я считаю ошибкой с твоей стороны упрямое желание скрыть от сына, что мать его жива. Хуже будет, если он узнает это от посторонних. И наконец, когда-нибудь да придется же тебе рассказать ему все...

– Может быть, когда он сделается юношей и самостоятельно вступит в жизнь. Теперь же он ребенок – он ничего не поймет из той драмы, которая разыгралась в доме его отца.

– Пожалуй, ты прав... Но будь, по крайней мере, настороже... Ты знаешь свою жену, знаешь, чего именно от нее ждать. Боюсь, что для этой женщины нет ничего невозможного.

– Да, я знаю ее, – с горечью сказал Иван Осипович, – потому-то я и хочу во что бы то ни стало оградить от нее моего сына. Он не должен дышать воздухом, отравленным ее близостью, хотя бы в продолжение часа! Не беспокойся, я нисколько не скрываю от себя опасности, которая грозит мне при возвращении Станиславы, но пока Осип подле меня, бояться нечего, ко мне она не приблизится, даю тебе слово.

– Будем надеяться, – отвечал Сергей Семенович, – но мне пора, есть еще несколько дел...

Он подал Ивану Осиповичу руку на прощанье.

– Но не забывай, что наибольшая опасность кроется в самом Осипе; он во всех отношениях сын своей матери... На днях ты уезжаешь с ним к Полторацким, я слышал...

– Да, на некоторое время... Рождение дочери, княжны Людмилы... Летом же он будет гостить у них, во время лагерей...

Зиновьев вышел. Иван Осипович снова направился к окну, но не для того, чтобы взглянуть на друга, который, проходя мимо, поднял голову и послал ему еще поклон. Взор Лысенко по-прежнему мрачно уставился на частую сетку моросящего дождя.

«Сын своей матери!» – припомнились ему слова Сергея Семеновича.

Правда, не было никакой надобности слышать их от другого – он сам хорошо знал это. Именно это сознание и провело такие глубокие морщины на его лбу и вызвало у него такой тяжелый вздох. Он был из таких людей, которые предпочитают стоять лицом к лицу с опасностью, – уже около года со всей энергией он боролся с злополучной наследственностью сына. Мысль о том, что мать может пожелать видеться с сыном, и раньше приходила ему в голову, но он старался отогнать ее. Сегодня он получил от нее даже письмо с этой просьбой.

– Мой сын не знает, что мать его еще жива, и пока не должен этого знать. Я не хочу, чтобы он видел ее, говорил с нею, и этого не будет; я, надеюсь, сумею помешать этому, чего бы мне это ни стоило.

Иван Осипович высказал эту мысль вслух и так ударил потухшей трубкой, которую продолжал держать в руке, об пол, что она разбилась на мелкие части. Вбежавший казачок бросился подбирать осколки.

– Свежую! – крикнул майор, бросая ему чубук.

VIII. Цесаревна

Почти такой же одинокой и забытой, в описываемое нами время, придворными сферами, как и Якобина Менгден, жила в своем дворце на Царицыном лугу, где в настоящее время помещаются Павловские казармы, цесаревна Елизавета Петровна.

9 ноября 1740 года мы застаем ее в опочивальне, в домашнем платье, только что выслушавшей доклад о происшедшем в минувшую ночь в Петербурге.

Двадцативосьмилетняя красавица, высокая ростом, стройная, прекрасно сложенная, с чудными голубыми глазами с поволокой, с прекрасными белокурыми волосами и ослепительно белым цветом лица, чрезвычайно веселая и живая, не способная, казалось, думать о чем-то серьезном – такова была в то время цесаревна Елизавета Петровна.

Между тем в описываемый нами день на ее лице лежала печать тяжелой серьезной думы. Она полулежала в кресле, то открывая, то снова закрывая свои прекрасные глаза. Картины прошлого неслись перед ней, годы ее детства и юности восстали перед ее духовным взором. Смутные дни, только что пережитые ею в Петербурге, напоминали ей вещий сон ее матери – императрицы Екатерины Алексеевны. Это и дало толчок воспоминаниям.

Незадолго до своей смерти императрица Екатерина Алексеевна видела сон, теперь, как оказывается, очень верно истолкованный ею. Ей снилось, что она сидит за столом, окруженная придворными. Вдруг появляется тень Петра. Петр одет, как одевались древние римляне. Он манит к себе Екатерину. Она идет к нему, и он уносится с нею под облака. Улетая с ним, она бросила взор на землю. Там она увидела своих детей, окруженных толпою, составленною из представителей всех наций, шумно споривших между собой. Екатерина Алексеевна истолковала этот сон так: что она должна скоро умереть и что по смерти ее в государстве настанут смуты.

Сон ее матери действительно исполнился. Со времени Петра II государство не пользовалось спокойствием, каковым нельзя было считать десятилетие правления Анны Иоанновны и произвола герцога Бирона. Теперь снова наступали еще более смутные дни. Император – младенец, правительница – бесхарактерная молодая женщина – станет, несомненно, жертвой придворных интриганов.

От мысли о матери цесаревна невольно перенеслась к мысли о своем великом отце. Если бы он встал теперь с его дубинкой, многим бы досталось по заслугам. Гневен был Великий Петр, гневен, но отходчив. Ясно и живо, как будто это случилось вчера, несмотря на протекшие полтора десятка лет, восстала в памяти Елизаветы Петровны сцена Петра с ее матерью. Не знала она тогда, хотя теперь догадывается, чем прогневала матушка ее отца.

Он стоял с нею у окна во дворце. Анна и Елизавета, играя, тихо сидели в одном из уголков той же комнаты.

– Ты видишь, – сказал он ей, – это венецианское стекло. Оно сделано из простых материалов, но благодаря искусству стало украшением дворца. Я могу вернуть его в прежнее ничтожество.

С этими словами он разбил стекло вдребзги.

– Вы можете это сделать, но достойно ли это вас, государь, – отвечала Екатерина, – и разве от того, что вы разбили стекло, дворец ваш сделался красивее?

Петр ничего не ответил. Хладнокровие здравого смысла утишило раздражение.

Елизавета Петровна часто думала об этой сцене, врезавшейся в ее память. Только с годами она поняла ее значение, поняла, что, говоря о стекле, отец намекал на простое происхождение ее матери.

Одновременно с этой сценой из дворца исчез красивый камергер императрицы Монс де ла Кроа. Его казнили вскоре, как потом узнала Елизавета Петровна. Все стало ясно для

нее. Отец с матерью, однако, примирились. И это примирение предсказал Екатерине вещий сон.

За две недели до ареста Монса де ла Кроа она увидела во сне, что постель ее внезапно покрылась змеями, ползшими во всех направлениях. Одна из них, самая большая, бросилась на нее, обвила кольцами все ее члены и стала душить ее. Екатерина защищается, борется с змеей и наконец удушает ее. Тогда все прочие, мелкие змеи сбежали с ее постели.

Далее тянутся воспоминания цесаревны. Она припоминает свою привольную, беззаботную жизнь в Покровской слободе, теперь вошедшей в состав города Москвы. Песни и веселья не прерывались в слободе. Цесаревна сама была тогда прекрасная, голосистая певица; запеваля у ней была известная в то время по слободе певица Марта Чегаиха. За песни царевна угощала певиц разными лакомствами и сладостями: пряниками-жмычками, цареградскими стручками, калеными орехами, маковой избоиной и другими вкусными заедками.

Цесаревна иногда с ними на посиделках занималась рукоделиями, пряла шелк, ткала холст; зимою же об святах собирались к ней ряженные слободские парни и девки, присядки, веселые и удалые песни, гаданья с подобным припевом. Под влиянием бархатного пивца да сладкого медку, да праздничной бражки весело плясалось на этих праздниках. Сама цесаревна была до них большая охотница.

На масленице у своего дворца, против церкви Рождества, она собирала слободских девушек и парней кататься на салазках, связанных ремнями, с горы, названной по дворцу царевниному – Царевною, с которыми и сама каталась первая. Той же широкой масленицей вдруг вихрем мчится по улицам ликующей слободы тройка удалая; левая кольцом, правая еле дух переводит, а коренная на всех рысях с пеной у рта. Это тешится, бывало, она, царевна, покрикивая удалому гвардейцу-вознице русскую охотничью присказку:

– Машу не кнутом, а голицей.

Любимою потехою цесаревны, по примеру царствующих домов тогдашней Европы, была охота. Ей она посвящала все свое время в слободе, будучи в душе страстной охотницей до псовой охоты по-за зайцами. Она выезжала в мужском платье и на соколиную охоту. Для этой забавы в слободе был охотный двор на окраине слободы, на лугу, на реке Серой. Здесь тешилась цесаревна напуском соколов в вышитых золотом, серебром и шелками бархатных клубучках, с бубенчиками на шейках, мигом слетавших скляпышей, прикрепленных к пальцам ловчих, сокольничих, подсокольничих и кречетников, живших на том охотном дворе, где и содержались приносившие соколы, нарядные сибирские кречеты и ученые ястребы. Цесаревна, повторяем, была страстной охотницей травить зайцев и предпочитала это невеселое удовольствие всем прочим охотничьим.

«Ату его! Ату его!» – этот охотничий возглас и теперь заставляет сильно биться ее сердце. С пронзительным свистом, диким гиканьем, звучным тьяканьем гончих, вытянувшихся в струнку резвых борзых, с оглушительным грохотом арапников мчались с замиранием сердца шумные ватаги рьяных охотников, оглашая поляны дворцовых волостей слободы, представлявших широкое раздолье для утех цесаревны, скакавшей, бывало, на ретивом коне, всегда с неустрашимой резвостью, впереди всех. Рядом неся любимый ее стремениной – Гаврило Извольский, а за ним доезжание, стаешники, со сворами борзых и гончих в причудливых ошейниках, далее кречетники, сокольники, ястребинники со своей птичьей охотой, все на горских конях, со всем охотничьим нарядом, по росписи: ястребами, соколами и кречетами.

Всю эту шумную вереницу гульбиного люда, среди которого блистали красавец Алексей Яковлевич Шубин, прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, и весельчак Лесток, замыкал обоз с вьючниками. Шубин, сын богатого помещика Владимирской губернии, был ближний сосед цесаревны по вотчине своей матери. Он был страстный охотник, на охоте

и познакомился с Елизаветой Петровной. Лесток был врачом цесаревны, француз, восторженный, он чуть не молился на свою цесаревну.

Но вот веселые воспоминания Елизаветы Петровны прерываются. Не по ее воле окончилась ее беззаботная жизнь в Покровской слободе. Ей было приказано переехать на жительство в Петербург. Подозрительная Анна Иоанновна и еще более подозрительный Бирон, видимо, испугались ее популярности.

Елизавета Петровна вздохнула. Жизнь в Петербурге была не та, что там, под Москвою. Здесь испытала цесаревна первое сердечное горе. Неосторожный Шубин поплатился за преданность ей – его арестовали и отправили в Камчатку, где насильно женили на камчадалке.

Много слез пролила Елизавета, скучая в одиночестве, чувствуя постоянно тяжелый для ее свободолюбивой натуры надзор. Кого она ни приблизит к себе – всех отнимут. Появился было при ее дворе брат всесильного Бирона, Густав Бирон, и понравился ей своей молодцеватостью да добрым сердцем – запретили ему бывать у нее. А сам Эрнст Бирон, часто в наряде простого немецкого ремесленника, прячась за садовым тыном, следил за цесаревной. Она видела это, но делала вид, что не замечает.

Припомнились ей оба Бирона теперь именно, после выслушанного рассказа о происшедшем в минувшую ночь. Искренно пожалела она Густава Бирона, а особенно его невесту Якобину Менгден. Что-то она чувствует теперь?.. Не то же ли, что чувствовала она, цесаревна, когда у нее отняли Алексея Яковлевича?

Года уже не только притупили боль разлуки, но даже в сердце цесаревны уже давно властвовал другой, и властвовал сильнее, чем Шубин, но все же воспоминание о видном красавце, теперь несчастном колоднике, нет-нет, да приходило в голову Елизаветы Петровны, и жгучая боль первых дней разлуки нет-нет, да кольнет ее сердце. Сочувствие к молодой девушке, разлученной невесты Густава Бирона, вызвало и теперь эти воспоминания и эту боль. Веселые картины привольной жизни под Москвой сменились тяжелыми о тревожном настоящем и неизвестном, загадочном будущем.

– Дозволишь войти, цесаревна? – раздался приятный грудной голос.

В дверях комнаты появился Алексей Григорьевич Разумовский.

IX. Алексей Разумовский

Вошедший в опочивальню цесаревны Елизаветы Петровны Разумовский был высокий, стройный мужчина, лет тридцати, несколько смуглый, с чудными черными глазами и черными же дугообразными бровями – словом, настоящий красавец.

Доверенное лицо и управляющий в описываемое нами время небольшим двором цесаревны и ее имением, Алексей Григорьевич Разумовский был далеко не знатного происхождения. В начале прошлого столетия в Черниговской губернии, Козелецкого повета, в деревне Лемешах, на девятой версте по старому тракту от Козельца в Чернигов, жил регистровый казак «киевского Вышгорода-Козельца полка Григорий Яковлевич Розум».

Григорий Яковлевич имел старшего брата Ивана Яковлевича и сестру Анну Яковлевну, которая была замужем за казаком Дубиной. Он сам женился на дочери казака Демьяна Стрешенцова из соседнего села Адамовки – Наталье Демьяновне, женщины очень умной. Все в околотке знали эту Розумиху.

Что был за человек Григорий Яковлевич Розум, долго ли жил и чем занимался в свободное от походов время – неизвестно. Несомненно только, что в описываемое нами время в живых его уже не было. У Натальи Демьяновны было три сына: Данила, Алексей и Кирилл и три дочери: Агафья, Анна и Вера.

Данила Григорьевич умер еще в царствование Анны Иоанновны, оставив на попечение Натальи Демьяновны дочь свою Авдотью Даниловну.

Второй сын, Алексей Григорьевич, родился в Лемешах 17 марта 1709 года. Он был сперва пастухом общественных стад, но его привлекательная внешность и приятный голос обратили на него внимание высшего духовенства. Причт села Чемеры, к приходу которого принадлежали Лемеша, взял мальчика под свое попечение. Священнослужители обучили его грамоте и церковному пению, и по праздникам молодой Розум пленял своим чудным голосом чемеровских прихожан.

Третий сын Натальи Демьяновны – Кирилл Григорьевич родился 18 марта 1724 года. Он ходил за отцовскими волами.

Дети росли и утешали родителей.

– Сыновья мои родились счастливыми, – говорила впоследствии Наталья Демьяновна, – когда Алеша хаживал с крестьянскими ребятишками по орехи или по грибы, он их всегда набирал вдвое больше, чем товарищи, а воны, за которыми ходил Кирилл, никогда не заболели и не сбегали со двора.

Хата, в которой родился Кирилл Григорьевич и провел детство старший брат его, стояла среди Лемешей, по правую сторону почтовой дороги от Козельца в Чернигов. В длину с сеньми и каморкою обращена была она к улице и находилась от нее шагах в двадцати, среди огорода, в котором изредка стояли фруктовые деревья. Наружным видом она не отличалась от прочих ее окружающих хат, а по величине и чистой отделке окон и дверей ее можно было принять за хату довольно зажиточного крестьянина. На потолке хаты во всю длину красовался драгоценный сволок (обои), со следующей резной надписью с титлами славянскими буквами: «Благословением Бога Отца, поспешением Сына (за ними изображение креста), содействием Святого Духа созданся дом сей рабою Божьей Наталии Розумихи. Року 1711 мая 5 дня».

Слова «Наталии Розумихи» приписаны были как бы другим почерком. В таком виде сохранилась хата эта до 16 июня 1854 года, когда пожар уничтожил ее дотла.

Однажды Наталье Демьяновне приснилось, что в хате у нее, на потолке, светятся солнце, месяц и звезды, все вместе. Она пересказала сон соседкам, которые над нею смеялись. Дня три после сновидения, в начале января 1731 года, в праздничный день, проезжал

через Чемеры полковник Вишневский, возвращавшийся из Венгрии, куда он ездил покупать венгерские вина для императрицы Анны Иоанновны. Вишневский зашел в церковь, пленился голосом и наружностью Алексея Розума и уговорил Наталью Демьяновну отпустить сына с ним в Петербург. Приехав в столицу, Вишневский представил своего питомца тогдашнему обер-гофмаршалу Рейнгольду Левенвольду, который поместил молодого малороссиянина в придворный хор.

В придворных певчих Алексей Розум оставался несколько лет. Однажды цесаревна Елизавета Петровна присутствовала при богослужении в придворной церкви. Она была поражена голосом Розума и потребовала, чтобы он был ей представлен после окончания литургии. Красота его поразила великую княжну еще более, чем голос. Цесаревна просила графа Левенвольда уступить ей молодого певчего. Граф согласился, и Алексей Григорьевич, получивший при поступлении ко двору Елизаветы Петровны прозвание Разумовского, стал считаться певчим цесаревны.

Голос его вскоре начал спадать, и из певчих он был переименован в придворные бандуристы. Это случилось после истории с Шубиным.

Арест и горестная судьба его произвела, как мы знаем, сильное впечатление на великую княжну. Она долгое время была неутешна о своем любимце, и есть предание, что даже намеревалась принять иноческий сан в Александровском Успенском монастыре. Когда первые порывы грусти прошли, цесаревна почувствовала себя совершенно одинокою среди неблагоприятного в ней петербургского двора. В это время она и увидела молодого Розума.

Вскоре из бандуристов уже не Розум, а Разумовский был произведен в управление одного из цесаревнинных имений. Мало-помалу и другие недвижимые имущества, а вслед за ними и весь небольшой двор Елизаветы Петровны очутился под влиянием Алексея Григорьевича – одним словом, он вполне занял место сосланного Шубина.

Дочь Екатерины I, не помнившая родства, возросшая среди птенцов Великого Петра, которых грозный царь собирал на всех ступенях общества, Елизавета Петровна была вполне чужда родовым предрассудкам и аристократическим понятиям. При дворе ее люди были все новые. Но если бы цесаревна и желала окружить себя Рюриковичами, как потомками Гедиминов, это едва ли удалось бы ей.

Оставшись на восемнадцатом году после смерти матери и отъезда сестры в Голштинию, она без руководителей, во всем блеске красоты необыкновенной, получившая в наследство от родителей страстную натуру, от природы одаренная добрым и нежным сердцем, кое-как или, вернее, вовсе невоспитанная, среди грубых нравов, испорченных еще лоском обманчивого полуобразования, бывшая предметом постоянных подозрений и недоверия со стороны двора, цесаревна видела ежедневно, как ее избегали и даже нередко от нее отворачивались сильные мира сего, и поневоле искала себе собеседников и утешителей между меньшей братией.

Между тем мать молодого любимца казачка Наталья Демьяновна успела пристроить дочерей. Она выдала старшую, Агафью, за ткача Влача Будлянского, вторую, Анну, за закройщика Осипа Лукьяновича Закревского, и третью, Веру, за реестрового казака Ефима Федоровича Дарагана. Случай Алексея Григорьевича отозвался и в Лемешах.

Указание на сношения с Украиной подтверждается следующим письмом цесаревны к украинскому старшине Горлинке, с которым она познакомилась во время нередкого путешествия в Петербург.

«Благородный господин Андрей Андреевич! Послан от нас в Малороссию за нашими нуждами камердинер наш Игнатий Полтавцев, и ежели он о чем о своих нуждах просить будет, прошу, по вашей к нам благосклонности, в том его не оставить. В чем к вам не безнадежно остаюсь, вам доброжелательная Елисавет. Июля 11 дня 1737 года».

Таково было происхождение и родственные отношения любимца цесаревны Елизаветы Петровны Алексея Григорьевича Разумовского.

– Что скажешь, Алексей Григорьевич? – подняла голову Елизавета Петровна.

– Да напомнить пришел, цесаревна: не съездишь ли ты сегодня ко двору?

– Что я там забыла?

– Забывать-то, пожалуй, и не забывала, да тебя-то, цесаревна, там забыть не могут.

– Это ты правильно, стою я им как сухая ложка поперек горла.

– Вот то-то оно и есть. Доподлинно известно ведь нынешней правительнице, что регент-то за последнее время строил относительно тебя, царевна, свои планы.

– Это выдать меня за своего сына Петра и удалить из России Брауншвейгскую фамилию?

– Мечтал он об этом сильно.

– Нет, уже меня за немца замуж не выдать... Не только за доморощенного, но даже и за настоящего... Немало немецких принцев на меня зарились, все ни с чем отъехали. Чай, тебе это хорошо известно.

– Как не быть известным, да и не мне одному, гвардия, народ, все это знают и почитают тебя, царевна, за то еще пуще.

– Насолили им немцы-то.

– Уже и не говори.

Елизавета Петровна задумалась, поникнув головой. Наступило молчание. Его прервал Алексей Григорьевич:

– А съездить ко двору все же надо... Не ровен час, как взглянется... Иш они ночные действия устраивать принялись.

– Что же, Алексей Григорьевич, может, этим нам пример подадут... – весело сказала цесаревна.

– Дай-то Бог... Все Он, Всемогуший...

Елизавета Петровна при этих словах Разумовского молитвенно обратила свой взор на передний угол, где стоял большой киот с образами в богатых ризах, перед которыми горела неугасимая лампада.

– Шутки я шучу, Алексей Григорьевич, знаешь, чай, меня не первый год, а в душе при этих шутках кошки скребут, знаю тоже, какое дело и мы затеваем. Не себя жаль мне! Что я? Голову не снимут, разве в монастырь дальний сошлют, так мне помолиться и не грех будет... Вас всех жаль, что около меня грудью стоят, будет с вами то же, что с Алексеем Яковлевичем... А ведь он тебе тезка был.

Легкая судорога пробежала по красивому лицу Разумовского. Он не любил, когда цесаревна вспоминала о Шубине.

– О нас, цесаревна, не беспокойся... Нам зря болтать не доводилось, да и не доведется... – с горечью ответил он. – Так прикажи туалет твой подать и с Богом поезжай во дворец-то...

– И то, съездить надо... – Встала Елизавета Петровна, сделав вид, что не обратила внимания на колкость, отпущенную Разумовским по поводу болтливости Шубина.

– Поезжай, матушка, да поласковее будь с герцогским высочеством, она на ласку-то отзывчива.

– Знаю, уж ли не знаю, на ласку-то меня и взять, только не на притворную... Тяжело, а делать нечего... И зачем только я вам понадобилась...

– Не след так говорить дочери Петра Великого.

– Эх!.. – махнула рукой Елизавета и дернула за сонетку.

– Так я пойду, ноне кое-кого еще повидать надо...

– Иди, иди, Алексей Григорьевич.

– Замолви, царевна, коли случай подойдет, словечко за Якобину-то... Совсем, говорю, девка искручинилась.

– Да, да, непременно! Несчастливая... – отвечала Елизавета Петровна, и при этом напоминании о фрейлине Менгден, жених которой был так внезапно арестован, снова перед ней восстала фигура красавца Шубина...

Алексей Григорьевич вышел.

Х. Во французском посольстве

Прошло несколько месяцев после переворота, произведенного фельдмаршалом Минихом в пользу Анны Леопольдовны.

В кабинете тогдашнего французского посланника при русском дворе маркиза Жака Троти де ла Шетарди находились сам хозяин и придворный врач цесаревны Елизаветы Герман Лесток.

Маркиз де ла Шетарди был назначен представителем Франции при русском дворе всего около двух лет тому назад. Он был типом светского француза XVIII века. То офицер, то дипломат, но прежде всего придворный – он обращал на себя внимание везде, где ни появлялся. Страстно любящий общество, где, благодаря своему изяществу и галантности, он имел большой успех и насчитывал столько друзей, как и врагов, привлекая одних своей любезностью и личным обаянием и восстанавливая против себя других своим подвижным и вспыльчивым нравом.

Герман Лесток приехал в Россию в 1713 году, определился врачом при Екатерине Алексеевне и в 1718 году был сослан Петром в Казань. Со вступлением на престол Екатерины I он был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елизавете Петровне, которой сумел понравиться своим веселым характером и французской любезностью.

Маркиз де ла Шетарди нервно ходил по кабинету, в то время как Лесток, видимо, с каким-то напускным спокойствием сидел в кресле.

– Итак, вы говорите, любезный Лесток, что положение вашей очаровательной пациентки становится день ото дня тяжелее и опаснее...

– Да, маркиз, она, видимо, сама не сознает этого и не жалуется, но нам, близким ей людям, все это слишком ясно... У цесаревны нет влиятельных друзей, мы – мелкие сошки – что можем сделать?..

– Отчего нет влиятельных друзей? Быть может, и найдутся... – с загадочной улыбкой заметил маркиз.

Лесток сделал вид, что не слышал этого замечания, и продолжал:

– Цесаревна слишком доверчива, добра и жизнерадостна, чтобы предаваться опасениям, но нам, повторяю, подлинно известно, что гибель ее решена...

– Как? – остановил его маркиз.

– Там... – скорее, движением губ, нежели голосом, сказал Лесток.

– А... Ну, это посмотрим!.. – вдруг взволновался де ла Шетарди. – Гибель ее... гибель изящнейшей русской женщины нашего времени!..

Маркиз вспомнил впечатление, произведенное на него цесаревной в первое свидание. Он был положительно очарован ею. Совершенно другое впечатление произвела на него холодная, апатичная Анна Леопольдовна, к которой он отправился после визита к Елизавете Петровне. Он был принят ею и ее мужем так нелюбезно, что его самолюбие было этим задето и он решил тогда же отомстить за этот прием, если к тому представится случай. Он припоминал теперь, что после утонченности версальского двора и простоты, господствовавшей в Германии, русский двор, в царствование Анны Иоанновны, с его увеселениями, шутами, скоморохами, грубой безвкусной роскошью, поразил его.

Среди этого двора была только одна личность, напоминавшая западные нравы и подходившая к духу западных наций своими вкусами, своей безыскусственной веселостью и врожденной грацией, – это была цесаревна Елизавета. Вспомнив, что звание посла давало ему право открывать с нею при дворе бал, так как императрица Анна уже не танцевала, он заявил об этом праве и настоял на своем требовании. Это, видимо, понравилось цесаревне,

и она, как теперь вспоминал маркиз, часто повторяла ему, что ей известны чувства, которые питает к ней король, что она этим тронута и постарается поддержать их.

Случай достойно расплатиться с правительницей и ее надменным супругом теперь представляется для Шетарди очень удобным. Он уже начал эти расчеты, но они ему казались недостаточными. Дело в том, что русский двор был поставлен им в щекотливое положение. Назначенный чрезвычайным послом французского короля при императрице Анне Иоанновне, Шетарди лишился этого звания со смертью императрицы. Некоторое время спустя ему велено было остаться представителем Франции в Петербурге, только в звании полномочного посланника. Возник вопрос о том, каким образом он представит свои новые верительные грамоты.

Посланники других держав удовольствовались аудиенцией у правительницы, но маркиз де ла Шетарди категорически требовал, чтобы ему позволили представиться самому царю, которому не исполнилось еще в то время и года. Подобное требование удивило русских и породило массу самых запутанных вопросов. Будет ли аудиенция частная или публичная? Вручит ли посланник свои письма самому ребенку? Положит ли он их на табурет, поставленный у подножия трона, или вручит их правительнице, которая будет держать младенца-царя на руках?

Поставив таким образом в затруднение правительницу, Шетарди торжествовал, и теперь, когда к нему неспроста – он понял это – пришел врач и доверенное лицо цесаревны Елизаветы – Лесток, маркиз нашел, что придуманная им месть Анне Леопольдовне недостаточна, что есть еще другая – горшая: очистить русский престол от Брауншвейгской фамилии и посадить на него дочь Петра Великого, заменив, таким образом, ненавистное народу немецкое влияние – французским. Он, таким образом, может достичь разом двух целей – или, как говорят русские, убить двух зайцев: отомстить, и отомстить жестоко, Анне Леопольдовне и ее супругу и исполнить свою главнейшую миссию при русском дворе.

В записке, составленной французским министерством иностранных дел, долженствовавшей служить ему инструкцией, предписывалось собрать предварительные сведения о положении России и партий при русском дворе. При этом он должен был обратить особенное внимание на лиц, державших сторону великой княжны Елизаветы Петровны, разузнать, какое назначение и каких друзей она может иметь, а также настроение умов в России, семейные отношения, словом, все то, что могло бы предвещать возможность переворота. Знал также Шетарди, что незадолго до его прибытия в Россию в Петербурге был открыт заговор, в котором была замешана Елизавета Петровна, и что ее фаворит Нарышкин должен был бежать во Францию, откуда он продолжал интриговать в пользу цесаревны.

Все это мгновенно пронеслось в голове маркиза де ла Шетарди в то время, когда Лесток упомянул о возможности гибели Елизаветы Петровны.

– Конечно, – между тем продолжал врач цесаревны, – ее не казнят публично и не умертвят даже, но ее постригут в монастырь, как это в обычае в здешней стороне.

– Этого не бывать! – воскликнул маркиз. – Не монашеский клобук, а царская корона приличествует этой прелестной головке.

Это было сказано так громко, что осторожный Лесток боязливо заерзал на кресле и пугливо стал оглядываться по сторонам.

– Дорогой маркиз, вы, конечно, у себя, но в здешней стране у стен всех домов есть чуткие уши... – заметил он и стал передавать посланнику о симпатии цесаревны к Франции, намекнув о надеждах, которые возлагает на него Елизавета Петровна.

Маркиз понял Лестока с полуслова.

– Передайте цесаревне, что я от имени короля заявляю ей, что Франция сумеет поддержать ее в великом деле. Пусть она располагает мной, пусть располагают мной и люди ее

партии, но мне все же необходимо снести по этому поводу с моим правительством, так как посланник, не имеющий инструкции, все равно что незаведенные часы.

Ускорить уже давно задуманное им участие в деле цесаревны Елизаветы побудило Шетарди следующее обстоятельство. Весной 1741 года Миних, бывший противник союза с герцогом Брауншвейгским, был отрешен от занимаемых им должностей. Австрийская партия восторжествовала, и в тот момент, когда Франция стала открыто на сторону врагов Марии-Терезии, подписав вместе с Пруссией и Баварией военный союзный договор, Россия готовилась выступить на защиту королевы венгерской и послать ей на помощь 30 тысяч войска. В это время прибыл в Петербург английский уполномоченный Финч.

Англия предлагала Брауншвейгскому дому обеспечить за ним русский престол, если Россия обещает ей помогать в борьбе с Францией. Правительница согласилась на это предложение и, подписав договор, представленный ей Финчем, присоединилась открыто к недругам Франции. Маркиз де ла Шетарди предвидел это решение, но не старался устранить его.

Зная неприязненные отношения Брауншвейгского дома к Франции, питая в душе непримиримую вражду к правительнице, которую он выводил из себя своим формализмом, он полагал, что Франции от нее нечего ожидать и что Россия, управляемая немцами, рано или поздно всецело попадет под влияние Австрии. Он был уверен, что русский двор изменит свою политику только с переменой правительства, и для того, чтобы вырвать Россию из рук немцев, по его мнению, было одно средство – совершить государственный переворот. На участие в этом-то перевороте прозрачно намекал ему Герман Лесток.

Маркиз де ла Шетарди подвинул кресло близко к креслу, в котором сидел врач цесаревны, и стал беседовать с ним откровенно, как говорится, начистоту. И ему и Лестоку дело переворота казалось довольно легким, так как большинство русских людей ненавидело господствовавшую немецкую партию. Составить заговор или примкнуть к уже составленному, положить конец господству иноземцев, возвести на престол Елизавету, душой и сердцем напоминавшую француженку, – вот план, подробности которого восторженным шепотом развивал перед Лестоком маркиз де ла Шетарди.

Более старый годами и умудренный опытом, Герман Лесток несколько охладил пылкого маркиза. Он заговорил об отрицательных сторонах задуманного, советуя прежде всего обратить на них главное внимание, чтобы не потерять все в последнюю минуту вследствие горячности и присущей Елизавете неосторожности.

– Войска и народ любят действительно цесаревну, – говорил он, – многие русские, обожающие в ее лице дочь Петра Великого, возлагают на нее одну свои надежды, но...

– Какое там «но»? – нетерпеливо спросил маркиз.

– Но, увы, у цесаревны нет партии, в настоящем смысле этого слова, нет известного числа дисциплинарных людей, которые были бы подчинены одному лицу и были бы готовы на все по первому данному сигналу.

– Но чем вы это объясните?

– Для того чтобы образовать партию и руководить ею, необходимо терпение и при творство, качества, которыми не обладает цесаревна. Она легкомысленна и несдержанна... и кроме того...

Лесток умолк, видимо стесняясь продолжать.

– Что же «кроме того»? – вопросительно взглянул на него маркиз де ла Шетарди.

– Главным двигателем заговора всегда являются деньги, а их-то у цесаревны нет...

– За деньгами дело не станет... Деньги будут... – уверенно сказал маркиз. – Я на этих днях постараюсь увидеть цесаревну и поговорю с ней, но только наедине, чего мне до сих пор, к сожалению, не удавалось.

XI. Помощь Франции

Действительно, маркизу де ла Шетарди до сих пор не удавалось пробить даже несколько минут с глазу на глаз с царевной Елизаветой Петровной. Всякий раз, когда он являлся к ней, чтобы засвидетельствовать свое почтение, уже оказывался какой-нибудь непрошенный посетитель, подосланный двором, который поспевал как раз вовремя, чтобы присутствовать при их разговоре.

На другой день, однако, после посещения Лестока маркиз был счастлив и, явившись во дворец Елизаветы Петровны, застал ее одну. Она приняла его с присущей ей утонченной любезностью и в разговоре с особенным чувством упоминала имя французского короля. Маркиз даже заключил, что цесаревна питает к королю какую-то особенную романтическую привязанность. Ей были, конечно, известны переговоры, которые велись о ее браке с Людовиком XV. Слыша со всех сторон похвалы уму и красоте молодого короля, она действительно питала к этому монарху, которого она никогда не видела, но женой которого могла бы быть, чувство какой-то особенной нежности, смешанной с любопытством. Воспоминание о нем преследовало ее, как очаровательное, мимолетное видение.

Из этой беседы маркиз вынес убеждение, что цесаревна всецело рассчитывает на него, и в тот же вечер, с присущей ему горячностью, написал письмо во Францию, склоняя свое правительство помочь государственному перевороту в России.

Французский двор колебался вступить на тот путь, который указывал ему решительный и предприимчивый де ла Шетарди. Вмешаться тайным образом в домашние распри посторонней державы, дать деньги для составления заговора против существующего правительства и сделать французского короля сообщником этого заговора – казалось делом очень рискованным. Получив первое предложение своего посланника, версальский кабинет попросил время на размышление.

Но мало-помалу желание устранить в Петербурге немецкое влияние и заменить его французским взяло верх над всеми прочими соображениями, тем более что в XVIII веке государства не придерживались еще современного принципа невмешательства в чужие дела. Французское правительство поэтому пришло само к тому убеждению, что это дело вполне заслуживает внимания короля и что не следует огорчать принцессу Елизавету отказом.

Некоторое время спустя оно высказалось еще определеннее. Шетарди велено было передать царевне, что Франция предоставляет в ее распоряжение свои средства, свои кредиты и готова помогать ей своими советами. Желая польстить тайной склонности Елизаветы Петровны, маркиз уверил ее, что король, содействуя ее планам, занят лишь ею и ее выгодами. Он ссылаясь на удовольствие, какое испытывает король, содействуя таким целям, и уверял цесаревну, что действия короля всегда будут направлены единственно к удовольствию видеть ее счастливой и восседающей на престоле. Король охотно доставит средства для таких издержек, как только он уведомит, каким образом можно это будет сделать, соблюдая тайну.

Елизавета Петровна, со своей стороны, не замедлила высказать, что она тронута тем, что король желает для нее сделать, и, руководимая живейшею признательностью, ни минуты не замедлила бы ее высказать, взяв бы на себя честь написать его величеству, если бы соображения, которым она оказывается подчиненной, не лишили бы ее средств к тому. Тем скорее она поспешит вознаградить за упущенное, если дела примут счастливый оборот; ни о чем тогда не будет заботиться сильнее, как о том, чтобы всю свою жизнь представлять доказательством своей благодарности королю. После такого обмена нежных чувств оставалось лишь выработать план совместных действий.

В это время отношения России с Швецией обострились. Возможность войны становилась все более и более вероятной, так как Швеция не могла примириться с потерей провинций на восточном побережье Балтийского моря и собиралась возвратить их силой оружия. Елизавета и Лесток хотели выждать начала войны и воспользоваться смятением, какое вызовет при петербургском дворе весть о приближении неприятеля, чтобы подать сигнал к восстанию.

Франция одобрила этот план в принципе, но с некоторым изменением. Содействуя государственному перевороту, она хотела им воспользоваться не только для того, чтобы сблизиться с Россией, но чтобы установить за ее счет прежнее величие Швеции. Преследуя эту цель, французское правительство выразило желание, чтобы между стокгольмским двором и Елизаветой Петровной установилось некоторое соглашение, а именно, Швеция обязалась бы напасть на русских по первому требованию, а Елизавета, со своей стороны, обещала бы, вступив на престол, возвратить ей часть прибалтийских провинций, завоеванных Петром Великим. Предъявляя это требование, Франция не приняла, видимо, во внимание патриотизм и дочернюю любовь великой княжны. Соглашаясь воспользоваться услугами Швеции и даже вызвать ее на войну с Россией, цесаревна сочла бы изменой против своего отечества и памяти своего отца отказаться от завоеваний, которые должны были обеспечить государству сообщение с морем и защищать доступ к основанной Петром Великим столице.

Возвратить прибалтийские губернии значило бы вернуться на полвека назад! Возможно ли было вычеркнуть из летописей истории Полтавскую битву?

Лучше было отказаться от престола, нежели получить его такой ценой. Несмотря на все настояния маркиза де ла Шетарди и шведского посланника, барона Нолькена, она наотрез отказалась уступить хотя бы одну пядь русской земли. Шведскому посланнику даже не удалось добиться от великой княжны никакого письменного ходатайства о помощи со стороны Швеции, которое бы служило законным оправданием его действий, но которое было бы вместе с тем официальным доказательством соглашения Елизаветы Петровны с врагами государства.

Это упорство со стороны великой княжны было первой помехой к осуществлению плана, составленного маркизом Шетарди. Вскоре явилось и другое препятствие.

Мы уже говорили о натянутых отношениях, возникших между Францией и Россией по поводу представления посланника малолетнему царю. Переговоры поэтому затянулись и угрожали повести к разрыву дипломатических сношений. В мае 1741 года Шетарди приказано было объявить графу Остерману, что он прервет всякое сношение с русским правительством, если ему не будет дозволено представить свои верительные грамоты самому царю. Остерман не хотел отвечать на это требование решительным отказом и в то же время не хотел согласиться на аудиенцию у царя, который был слаб здоровьем. Поэтому, во избежание всяких объяснений, он прибегнул к своему обычному способу, когда находился в затруднении или когда отстаивал неправое дело, — он заболел. Не получая на свое требование категорического ответа, Шетарди прекратил дипломатические сношения с русским двором и вследствие этого потерял возможность официально посещать цесаревну Елизавету, которая еще не решалась видаться с ним тайно. Посредником между ними при переговорах служил некоторое время барон Нолькен, но шведский двор вскоре отозвал его и назначил ему преемника.

Лесток являлся иногда на свидания, назначенные ему Шетарди, но боязнь наказания, а может быть и ссылки, парализовала ему язык. В доме, где происходили эти свидания, при малейшем шуме на улице Лесток быстро подходил к окну и считал уже себя погибшим. Все это тоже служило препятствием к осуществлению франко-русского плана.

Действительно, подозрение двора было уже возбуждено. Советники правительницы указывали ей на разные меры для ее личной безопасности и, внушая подозрения относи-

тельно Елизаветы Петровны, предлагали заключить ее в монастырь или выдать замуж за иностранного принца.

Так прошло несколько недель. Маркиз де ла Шетарди не видел великой княжны и ничего не слышал о ней. Его разрыв с двором делал его подозрительным в глазах русских, лишил его всякого общества и обрек на полное одиночество. Его никто не посещал, но дюжина шпионов день и ночь следила за домом посольства. Пользуясь чудными летними днями, посланник переселился на дачу, на берег Невы, в том месте, где река, разделяясь на несколько рукавов, образует так называемые Острова. На даче он вел совершенно отшельнический образ жизни, к которому, как он выражался, не чувствовал никогда ни малейшего призвания, и, томясь бездействием, обвинял Елизавету в легкомыслии и равнодушии к ее собственным интересам.

Но эти обвинения были напрасны. Царевна не забыла его и всячески старалась устроить с ним свидание. Она прогуливалась в лодке по реке и несколько раз проезжала вблизи его сада, который выходил на Неву. Сидя вечером на берегу и наслаждаясь прохладой, посланник видел иногда таинственную гондолу, скользившую по реке. Человек, сидевший на корме, время от времени трубил в охотничий рог, как бы желая этим обратить на себя внимание. Но маркиз не подозревал, что в этой гондоле сидела Елизавета Петровна, спрятавшись со своей свитой, и что, приказывая трубить в рог, она хотела обратить внимание Шетарди и вызвать его на свидание. Когда это не удалось, она хотела купить дом возле его дачи, но побоялась возбудить подозрение двора.

Наконец, в начале августа, сгорая от нетерпения, она послала к маркизу своего камергера Воронцова, чтобы условиться с ним насчет свидания. Было решено встретиться на следующий день как бы нечаянно по дороге в Петербург. Но в самый последний момент Елизавета Петровна не решилась выехать, зная, что за каждым шагом ее следят.

В августе месяце произошел окончательный разрыв со Швецией. Стокгольмский двор, подстрекаемый Францией, объявил войну России.

Все это было известно правительнице, и, казалось, что ей следовало после этого порвать всякие отношения с Францией, но случилось совершенно обратное.

Русский двор сделал вид, что ему ничего не известно, и, желая отделаться от посторонних затруднений, в тот момент, когда ему угрожала серьезная опасность, он уступил требованиям французского правительства относительно церемониала.

Шетарди, наконец, получил давно желаемую аудиенцию у царя и снова появился при дворе. На первом же приеме он встретился с цесаревной и в разговоре с нею высказал, что, несмотря на справедливые основания, существующие у короля для отзыва посланника из Петербурга, он велел ему остаться в России единственно для того, чтобы отстаивать интересы ее, Елизаветы Петровны.

– Его величество, – говорил Шетарди, – занят изысканием средств для возведения вашего высочества на престол, и если ради этой цели он уже заставил своих союзников, шведов, взяться за оружие, то король сумеет также ничего не пощадить, чтобы дать мне возможность оказать вам наилучшее содействие.

Елизавета Петровна поблагодарила посланника и сообщила ему, что, надеясь, что он будет теперь ее посещать, она приняла свои меры предосторожности, чтобы не терпеть никаких стеснений от присутствия каких-либо лиц. Цесаревна присовокупила, что по мере того, как недовольство растет, ее партия увеличивается.

– В числе моих самых ревностных приверженцев я могу считать князей Трубецких и принца Гессен-Гомбургского, все лифляндцы недовольны и преданны мне. Судя по нынешнему настроению, наше дело может иметь успех.

– В этом я никогда не сомневался. Будьте только вы мужественны, – отвечал Шетарди.

XII. Заговор

Заметив, что все взоры устремлены на нее, Елизавета Петровна прекратила разговор с маркизом де ла Шетарди.

На другой день Лесток имел свидание с Шетарди в лесочке, смежном с дачей посланника, и обнадежил его насчет неопровержимого желания Елизаветы Петровны как можно скорее приступить к исполнению задуманного плана, а также относительно преданности ее друзей.

С этого момента возникает заговор, которым взялась руководить Франция.

Восьмидесятивосьмилетний старик – кардинал Флери и серьезный, педантичный статс-секретарь Амело решились взять на себя роли заговорщиков. Нити тайной интриги, затеянной в Петербурге, сходились в их руках в Париже, и их тайные агенты препровождали в Россию массу денег, от которых зависел успех переворота.

В первых числах октября 1741 года в кафе «Фуа», на улице Ришелье, в Париже, куда часто заходили литературные знаменитости и писатели, вошел молодой человек. К нему вскоре присоединился другой посетитель, с которым тот заговорил, предварительно обменявшись с ним условными знаками, и которому он вручил 2 тысячи дукатов. Первый молодой человек был агент министра иностранных дел; второй был граф де Мань, друг маркиза Шетарди. Де Мань отослал полученные деньги своему племяннику, проживавшему в России. Этот молодой человек был известный мот и игрок, вел в Петербурге расточительный образ жизни, потому ему было как нельзя более естественно прибегнуть к помощи щедрого дядюшки.

В сущности, эти деньги предназначались для Шетарди, на имя которого нельзя было их послать, не возбуждая подозрения. Из рук маркиза деньги эти расплылись по казармам гвардейских войск, где вербовались сторонники Елизаветы Петровны. Подобным образом французское правительство неоднократно пересылало в Петербург довольно крупные суммы денег.

Вместе с тем из Франции был послан в Петербург особый эмиссар, которому было приказано уверить великую княжну в нежной заботливости, с какой король печется об ее интересах. В то же время Франция с успехом интриговала при разных дворах Европы в интересах цесаревны Елизаветы. В Стокгольме французские агенты проводили министров и раздавали пригоршнями деньги в сенате и сейме, чтобы ускорить выступление войска, которое должно напасть на русские владения. В Варшаве и Дрездене французская дипломатия подготавливала умы к мысли об ожидаемом в России перевороте. В Берлине приходилось действовать осторожно. Фридрих II был связан с Брауншвейгским домом узами крови, и, несмотря на то, что их отношения были довольно холодны, можно было опасаться, что прусский король отнесется к планам Елизаветы Петровны неодобрительно. Французскому посланнику при дворе прусского короля было приказано осторожно выведать его взгляд на этот предмет.

– Родными своими я признаю только моих друзей, – с цинизмом отвечал король прусский.

Душой заговора в Петербурге был Шетарди. Чтобы достигнуть цели, которая льстила его самолюбию и тщеславию, он пустил в ход всю свою ловкость. Маркиз был совершенно в своей сфере, когда дело шло о замысловатой интриге, в особенности если в нее была замешана очаровательная молодая женщина. Видя, с каким увлечением и как энергично он преодолевал все трудности, можно было думать, что он был занят любовной интригой, а не политическим делом, за которое мог поплатиться свободой, а быть может, и жизнью. Для довершения иллюзии тут были и тайные свидания, и долгие часы ожидания в назначенном месте, и украдкой брошенные взоры, и записочки, передаваемые в табакерках. Записочки эти

писались условно, полусловами: Елизавета Петровна называлась в них «героем», Лесток – «доверенным лицом», а другой агент, Шварц – «посредником».

Несколько раз в неделю Шетарди имел продолжительные свидания с цесаревной. Он отправлялся к ней во дворец ночью, переодетый; каждый день посылал ей записки, одобряя ее планы или высказывая свои замечания, стараясь, с одной стороны, сдерживать ее излишнюю горячность, а с другой – поддержать ее доверие, которое начинало колебаться.

Правительница Анна Леопольдовна, ее супруг и сановники предчувствовали угрожающую им опасность, но у них не хватало смелости принять действительные и зрело обдуманные меры для своей защиты. До них доходили жалобы недовольных, которые их смущали, точно так же, как безмолвие, с каким встречали их войска, когда они проходили мимо них.

– Что с тобою? Почему ты грустен? – спросил однажды герцог Брауншвейгский одного из самых ревностных приверженцев Елизаветы Петровны, капитана Семеновского полка, стоявшего на карауле во дворце, и положил ему в руки кошелек с 300 дукатов.

Офицер был очень доволен заключительным актом этого разговора, но не изменил из-за этого своим привязанностям.

Во дворце правительницы то и дело совещались сановники, не приходя ни к какому результату. Иной раз такой страх овладевал Анной Леопольдовной, что она вставала ночью, выходила из дворца, отправлялась к старику Остерману и умоляла его не покидать ее.

Только один человек старался поддержать в ней бодрость духа в это тревожное время. Это был саксонский посланник граф Линар. Он предложил решительную меру – подвергнуть великую княжну допросу и следствию и заставить отречься от прав на престол или арестовать ее.

– К чему, – вздыхая, возразила правительница, – это послужит? Разве нет еще чертенка, который всегда будет смущать наш покой?

Этим она намекала на герцога Голштинского, сына Анны Петровны. Линар разузнал через своих тайных агентов, что против Брауншвейгского дома более всех интригует маркиз Шетарди. Он сообщил Анне Леопольдовне обо всех происках маркиза и советовал арестовать Шетарди, если она не решалась что-либо предпринять против Елизаветы Петровны.

Правительница была окружена шпионами, подкупленными великой княжной. Одна из камер-юнгфер Анны Леопольдовны, услышав сказанное графом Линаром, передала его слова Елизавете Петровне, которая предупредила маркиза де ла Шетарди, и он тотчас же громко заявил во дворце, что если кто-нибудь отважится посягнуть на его личность, то он вышвырнет посягнувшего из окна.

Между тем в доме посольства люди были вооружены, пистолеты заряжены и компрометирующие бумаги были сожжены. Посольство готовилось выдержать осаду, но никто не дерзнул посягнуть на посланника.

Смелость и невозмутимое хладнокровие Шетарди невольно внушали к нему уважение. Он действовал решительно и чуть не открыто работал над погибелью тех, кто мешал осуществлению его планов, но в то же время относительно правительницы не упускал ни малейшего правила, требуемого этикетом и вежливостью. Проведя весь день с цесаревной, он отправлялся вечером во дворец, был внимателен и предупредителен к Анне Леопольдовне, а от нее уезжал на тайное свидание с Лестоком и Воронцовым.

Елизавета Петровна и Шетарди только и ожидали начала военных действий со стороны шведов, чтобы подать гвардии сигнал к восстанию. Они могли начаться со дня на день. По улицам Петербурга ежедневно проходили войска, отправляемые в Финляндию.

Неожиданное известие о том, что фельдмаршал Ласси, командовавший русскими войсками, вступил на неприятельскую территорию и взял приступом крепость Вильманstrand, едва не погубило дела. Узнав об этом, Шетарди поспешил к великой княжне и застал ее в отчаянии. Он старался поддержать в ней бодрость духа.

Ему удалось войти в сношение с главной квартирой шведского генерала, откуда был прислан манифест, обнародованный Швецией, который маркиз распространил в Петербурге, чтобы навести страх на русский двор. В этом манифесте стокгольмское правительство, говоря о своих дружеских чувствах к русской нации, объявляло о своем намерении напасть на незаконное его правительство, чтобы восстановить права законных наследников престола.

Таково было положение дел, когда днем 22 ноября 1741 года Елизавета Петровна, совершив обычную прогулку, подъехала к своему дворцу. Вдруг у ее саней неожиданно появился маркиз Шетарди и помог ей выйти.

– Это вы! Что случилось? – спросила она.

Выражение лица цесаревны, ее голос свидетельствовали о чрезвычайном волнении. Маркиз видел, что она не в состоянии далее скрывать свои намерения и терпеливо ждать развязки. Зная непостоянство и неустойчивость Елизаветы Петровны, он понимал, что, рискуя всем в первую минуту, она могла погубить все дело минутной слабостью. Он видел, что ему необходимо поддерживать в ней мужество, и решился представить ей на вид, что если борьба будет начата, то единственным спасением может быть успех.

– Вы вынуждаете меня, – сказал он ей, войдя в ее рабочую комнату, где обыкновенно происходили их совещания и которая находилась рядом с ее опочивальней, – ничего не скрывать от вас относительно опасности, которой вы подвергаетесь. Узнайте же, что по сведениям, полученным мною из верного источника, теперь идет речь о том, чтобы заключить вас в монастырь, где вы бы теперь уже были, не случись некоторых обстоятельств, помешавших этому; но как нельзя более вероятно, что эта отсрочка не будет долго продолжаться. Итак, чем вы рискуете, если даже ваш замысел не удастся? Подвергнуться, быть может, на несколько месяцев ранее той участи, которая вам предназначена и которой вы не можете избежать при тех мерах, которые приняты. Единственная разница лишь та, что, ничего не предпринимая, вы приводите в отчаяние ваших друзей, тогда как, выказав мужество, вы сохраните сторонников, которых ваше несчастье лишь сильнее побудит отомстить за него, избавив вас от опасности тем или другим способом.

– Откуда узнали вы, что моя участь решена? – воскликнула пораженная цесаревна.

Маркиз де ла Шетарди наклонился к ней и сказал несколько слов шепотом. На лице Елизаветы Петровны выразился неподдельный ужас. Она сначала вспыхнула, затем побледнела, но вскоре овладела собой и встала с дивана, на котором сидела рядом с маркизом.

– Благодарю вас, маркиз. Я покажу им, что я дочь Петра Первого.

Воспользовавшись ее воодушевлением, Шетарди тотчас же приступил к обсуждению тех мер, которые следовало принять.

– Надобно захватить власть неожиданно, – говорил он, – чтобы все было окончено в одну ночь и чтобы Петербург, проснувшись, мог приветствовать новую императрицу.

Так как преданность гвардейских солдат была вне всякого сомнения, а на офицеров нельзя было вполне полагаться, то было решено действовать исключительно при помощи солдат.

– Но отнюдь не надо колебаться, доверившись им, – говорил Шетарди, – положитесь на них вполне, такая доверчивость усилит их рвение.

Было решено, что Елизавета Петровна, надев под свою одежду кирасу, отправится в казармы, чтобы привлечь большее число солдат, и сама поведет их к Зимнему дворцу. Обсудив во всех подробностях различные пункты, касающиеся осуществления переворота, Шетарди коснулся вопроса, интересовавшего его в особенности, как представителя Франции.

Торжество Елизаветы должно было быть торжеством Франции, а с восшествием на престол влияние немецкой партии в России должно было уступить французскому влиянию.

Нанося удар правительству, великой княжне следовало, как говорил ей Шетарди, отделаться от всех своих врагов.

Он представил ей список всех тех, кого, по его мнению, следовало арестовать или сослать. В этом списке были поименованы все тайные и явные приверженцы Германии, а так как все важнейшие должности были заняты в то время немцами, то оказалось, что французский посланник внес в составленный им список всех чинов правительства, при котором он был аккредитован. В числе их стали Остерман, Миних, Линар. Условившись относительно подробностей, оставалось только назначить день для переворота. Это было отложено до ближайшего свиданья.

ХIII. «Действо»

23 ноября, на другой день после неожиданной встречи цесаревны у подъезда дворца с маркизом де ла Шетарди и продолжительной с ним беседы, во дворце был обычный прием.

Елизавета Петровна, за последнее время, по совету своих друзей, не манкировавшая посещением дворца, была на этом приеме. Принцессы играли в карты в галерее. Возле них толпились придворные и дежурные адъютанты. Тут же были и все иностранные посланники, а между ними и маркиз де ла Шетарди.

На лице Елизаветы Петровны была написана тревога. Маркиз несколько раз посмотрел на нее с чуть заметной ободряющей улыбкой. Герцогиня Анна Леопольдовна перехватила один из этих взглядов, наклонилась к цесаревне, сказала ей что-то шепотом и вышла из-за стола. Великая княжна последовала за ней, закусив нижнюю губу, что служило у нее признаком сильного раздражения.

– Что это у вас за странное отношение к этому наглецу? – в упор спросила правительница Елизавету Петровну, когда они вышли в соседнюю комнату.

– К какому наглецу? – удивленно вскинула на нее свои прекрасные глаза цесаревна.

– Вы очень хорошо понимаете, о ком я говорю.

– Нимало... Если бы я понимала, то не спрашивала бы.

– Извольте, я скажу вам, я говорю о вашем Шетарди.

– О Шетарди... О моем... – гордо подняла голову цесаревна и, в свою очередь, в упор посмотрела на герцогиню. – Мне кажется, что он, как посланник, аккредитован при русском правительстве, которое, за малолетством царя, представляет вы, герцогиня, как правительница, а потому он, скорее, ваш, а не мой.

– Однако он на меня никогда не поглядывает так, как на вас... – возразила Анна Леопольдовна.

Вместо ответа цесаревна только пожала плечами.

– Но к чему препирательства... – продолжала правительница. – Я решила потребовать от короля отзыва этого наглеца, он мне неприятен, и я бы желала, чтобы и вы, принцесса, не принимали его...

– Что касается до меня, – отвечала Елизавета Петровна, – то раз-другой я могу сказать, что меня нет дома, но в третий раз отказать уже будет неловко... Да я и не имею на то причин... Вчера, например, как я могла бы отказать ему, когда мы случайно встретились у моего крыльца?

– Он поджидал вас.

– Я этого не знаю.

– А я знаю.

– Я с вами не спорю... Но вот что я скажу вам: меня удивляет, почему вы не действуете более простым путем?

– Каким это?

– Вы правительница и располагаете властью, велите Остерману сказать маркизу Шетарди, чтобы он более не посещал моего дома.

– Боже меня сохрани от этого! – испуганно вскрикнула Анна Леопольдовна.

– Почему это?

– Потому, что ни в каком случае не следует раздражать людей, подобных этому маркизу, и явно давать им повод к жалобам.

– Вот видите, если вы, правительница, и ваш первый министр не решаетесь сделать этого, то как же вы требуете этого от меня, простой подданной его величества...

Ничего, таким образом, не добившись, Анна Леопольдовна в сильном раздражении вернулась в галерею. За ней вышла и Елизавета Петровна с мрачным выражением лица и вскоре уехала из дворца. Много передумал маркиз де ла Шетарди, также вскоре после отъезда цесаревны покинувший Зимний дворец.

– Не была ли обнаружена тайна Елизаветы Петровны, которая была вместе с тем и тайной французского короля? – вот вопрос, который чрезвычайно тревожил посланника уже во время отсутствия из галереи правительницы и цесаревны.

Он сумел, однако, скрыть свою тревогу с искусством тонкого дипломата, но по приезде домой тотчас послал за Лестоком. Напрасно прождал он его всю ночь, не смыкая глаз. Врач цесаревны явился только на следующий день и рассказал со слов Екатерины Петровны содержание вчерашнего разговора. Маркиз понял всю опасность своего положения. Правительница знала и была настороже.

Из дальнейшего разговора с Лестоком выяснилось, что основной партии служат народ и солдаты и что лишь после того, как они начнут дело, лица с известным положением и офицеры, преданные цесаревне, в состоянии будут выразить открыто свои чувства.

– Солдаты готовы на все!.. – несколько раз повторил Лесток.

– В таком случае, – сказал Шетарди, – чтобы помочь этим храбрым гренадерам, а также ради славы цесаревны, назначим момент для начала действий, чтобы Швеция, на основании заявления в Стокгольме, которое будет сделано от имени короля, стала действовать со своей стороны.

Лесток тотчас отправился за приказаниями к цесаревне. Он вскоре вернулся и заявил:

– Цесаревна предоставляет вам, маркиз, назначить время, когда вы сочтете возможным приступить к выполнению замысла, и только в случае опасности она решится, быть может, предупредить срок, который вы назначите.

На основании этого маркиз де ла Шетарди отправил на следующий день курьера к французскому посланнику в Швецию, чтобы генерал Левенгаупт, стоявший со своей армией на границе, перешел в наступление. Так как прибытие курьера в Стокгольм потребовало немало времени, то осуществление переворота было отложено до ночи на 31 декабря 1741 года.

Таким образом, приходилось еще более месяца жить в тревоге. Елизавета Петровна покорила этой необходимости. Но в тот самый момент, когда Герман Лесток вышел из французского посольства, сообщив Шетарди о согласии на назначенный им срок цесаревны, в Петербурге было получено известие, что граф Левенгаупт, командовавший шведскими войсками, двинулся вперед и вследствие этого гвардейские полки получили приказание быть наготове к немедленному выступлению. Этот приказ чрезвычайно смутил солдат, преданных цесаревне. Уходя, они оставляли ее на произвол ее врагов.

В тот же вечер, или, скорее, ночь, так как был двенадцатый час, цесаревне Елизавете Петровне доложили, что ее желают видеть семеро гренадер. Цесаревна тотчас же вышла к ним.

– Что же это ты, матушка, лежебочничаешь, когда надо дело делать, – сказал один из пришедших, – нам выступать готовиться приказано, не нынче завтра уйдем мы из Питера... На кого же тогда тебя, матушка наша, оставим... Немцы-то тебя слопают как пить дадут и не подавятся... Коли честью не пойдешь, мы тебя силком поведем, вот тебе наш солдатский сказ...

Елизавета Петровна была тронута этой простой речью, фамильярность которой оправдывалась искренней преданностью. После некоторого колебания она решилась.

– Идемте, дети мои, в казармы... – сказала она.

– Вот это дело так дело! – радостно воскликнули солдатики.

В исходе первого часа ночи на 25 ноября перед домом французского посольства остановились сани. В них сидели Елизавета Петровна, закутанная в шубу, Воронцов, Лесток, Шварц. Семеро гренадер конвоировали экипаж.

Цесаревна приказала позвонить у двери посольства и велела передать маркизу де ла Шетарди, что она стремится к славе и нимало не сомневается, что он пошлет ей всяких благих пожеланий, так как она вынуждена наконец уступить настояниям партии... От дома посольства она отправилась в Преображенские казармы и прошла в гренадерскую роту. Гренадеры ожидали ее.

– Вы знаете, кто я? – спросила она солдат. – Хотите следовать за мною?

– Как не знать тебя, матушка царевна, да в огонь и в воду за тобой пойдем, желанная, – хором отвечали окружавшие ее солдаты.

Цесаревна взяла крест и стала на колени. Все последовали ее примеру.

– Я клянусь этим крестом умереть за вас! – воскликнула Елизавета. – Клянетесь ли вы сделать то же самое за меня в случае надобности?

– Клянемся, клянемся! – отвечали солдаты хором.

Из казарм все двинулись к Зимнему дворцу. Елизавета Петровна ехала медленно впереди роты гренадер. Только один человек мог остановить войско – это был Миних. Унтер-офицер, командовавший караулом у его дома, был участником заговора. Ему было приказано захватить фельдмаршала и отвезти его во дворец цесаревны. Он так и сделал.

Стояла страшная стужа. Толстый слой обледевшего снега покрывал землю, заглушал и шум шагов. Двести гренадеров твердой поступью шли молча около саней Елизаветы Петровны. Они поклялись друг другу хранить полное молчание по пути и пронзить штыками всякого, кто будет иметь низость отступить хоть на шаг.

От Преображенских казарм, расположенных на окраине тогдашнего Петербурга, до Зимнего дворца было очень далеко. Пришлось идти по Невскому проспекту, безмолвному и пустынному. По обеим сторонам его высились уже в то время обширные дома, в которых жили сановники. Проходя мимо этих домов, солдаты входили в них и арестовывали тех, которых им было велено отвезти во дворец Елизаветы Петровны. Таким образом, они арестовали графа Остермана, графа Головкина, графа Левенвольда, барона Менгдена и многих других.

В конце Невского, у Адмиралтейства, цесаревна вышла из саней, опасаясь, чтобы скрип полозьев не обратил внимания караульных, и пошла дальше пешком. Несмотря на все старания, ей трудно было поспевать за солдатами, которые шли скорым шагом.

– Матушка наша, – сказали они, – так не довольно скоро, надо поспешить.

Они подхватили Елизавету Петровну и пронесли ее на руках до самого двора в Зимнем дворце. Она вошла в караульную.

– Проснитесь, мои дети, – сказала она солдатам, – и слушайте меня. Хотите ли вы следовать за дочерью Петра Первого? Вы знаете, что престол принадлежит мне, несправедливость, причиненная мне, отзывается на всем нашем бедном народе, и он изнывает под игом немецким. Освободимся от этих гонителей.

– Рады стараться, матушка, – как один человек отвечали солдаты.

Видя, что офицеры колеблются, они кинулись на них и обезоружили. Один офицер был бы убит прикладом, если бы Елизавета Петровна не отклонила ружья. Она приказала солдатам охранять все лестницы и выходы, затем, взяв с собою человек сорок гренадер, которые поклялись ей не проливать крови, вошла в апартаменты дворца. Караульные, когда она проходила мимо них, отдавали ей честь. Она нашла правительницу в постели. Анна Леопольдовна не оказала никакого сопротивления. В то же время был арестован и герцог Брауншвейгский.

Взяв маленького царя на руки, цесаревна поцеловала его.

– Бедный ребенок, ты совершенно не виновен, но родители твои виноваты.

После произведенного ареста Елизавета Петровна, сев в сани, вернулась в свой дворец, взяв с собою герцогиню Анну Леопольдовну и ребенка царя Иоанна Антоновича, лишившегося трона в колыбели.

XIV. Императрица

Начинало светать. Весть о совершившемся перевороте с быстротою молнии разнеслась по городу. Все лица, недовольные свергнутым правительством, все те, кто был предан цесаревне Елизавете Петровне, в несколько часов сделавшейся из опальной великой княжны русской императрицей, торжествовали.

В два часа пополудни она приняла поздравления первых чинов империи. На улице раздавались восторженные клики народа и войска. Петербург ликовал.

Только из этих радостных кликов, вырывавшихся из тысячей облегченных русских грудей, можно было понять, насколько тягость немецкого управления чувствовалась русским народом и насколько вступление на престол русской царицы явилось истинно светлым праздником для этого народа.

Елизавета Петровна возложила на себя орден Святого Андрея, объявила себя полковником четырех гвардейских полков и полка кирасир, показала народу со своего балкона, прошла через ряды гвардейских войск и уехала в Зимний дворец.

Любимец цесаревны Алексей Григорьевич Разумовский не принимал фактического участия в совершившемся ночью перевороте. Он оставался наблюдать за порядком в доме Елизаветы Петровны на Царицыном лугу, куда были доставлены многие арестованные и в числе их павшая правительница с императором Иоанном Антоновичем и новорожденной его сестрою.

Путь Елизаветы Петровны из дворца в Зимний был целым рядом триумфов. Какая разница была между этим торжественным шествием и ночной поездкой! Конная гвардия и пешие гвардейские полки окружали сани новой императрицы. Вдоль улицы стояли шпалерами войска. Несметные толпы народа приветствовали ее единодушными криками «ура!».

Прибыв во дворец, она направилась прежде всего в придворную церковь, чтобы присутствовать на благодарственном молебне, но ее окружили гренадеры лейб-гвардии Преображенского полка.

– Ты видела, матушка наша, – заговорили они, – с каким усердием мы восстановили твои справедливые права. Как единственную награду, мы просим тебя объявить себя капитаном нашей роты и чтобы мы первые могли тебе присягнуть у ступеней алтаря в неизменной верности.

– Быть по сему! – сказала новая императрица.

При всех треволнениях, испытанных ею в этот достопамятный день, Елизавета Петровна не забыла о маркизе де ла Шетарди. Она ежечасно извещала его о ходе событий и, когда уже была провозглашена императрицей, послала спросить его мнения, что ей следует делать с младенцем-императором, свергнутым с престола. С этим вопросом явился к маркизу Герман Лесток.

– Передайте ее величеству, – сказал де ла Шетарди, – что ее природная доброта и любовь к отечеству должны побуждать ее одинаково заботиться как о настоящем, так и о будущем. Поэтому следует употребить все средства, дабы изгладить самые следы царствования Иоанна Шестого; лишь одним этим будет ограждена Россия от бедствия, какое могло бы быть вызвано в то или иное время обстоятельствами, которых приходится особенно бояться здешней стране, на основании примера лже-Дмитрия.

Лесток ушел и дословно передал императрице слова французского посланника.

В этот же день вечером маркиз был приглашен императрицей во дворец. Он, конечно, не замедлил явиться. Императрица приняла его чрезвычайно приветливо, но, видимо, была еще взволнована пережитыми ею за сутки событиями.

– Я чувствую, – сказала она маркизу, – еще до сих пор подхваченной себя каким-то вихрем... Что скажут теперь наши добрые друзья англичане? – с живостью перебила она себя. – Есть еще один человек, на которого мне было бы интересно взглянуть, – это австрийский посланник Ботта. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу вам, что он будет в некотором затруднении; однако же он не прав, потому что найдет меня как нельзя более расположенной дать ему 30 тысяч подкрепления.

При своем торжестве императрица не забыла и о Людовике XV.

– Я вполне убеждена, – сказала она, между прочим, маркизу, – в том, что его величество примет более, чем кто бы то ни был, участия в том, что случилось со мною счастливого; я рассчитываю сама ему выразить, как я тронута всем, что он для меня сделал.

Действительно, день спустя после переворота и раньше, чем иностранные дворы были официально извещены об этом событии, императрица написала французскому королю.

«Мы нисколько не сомневаемся, любезный брат и истинный друг, – говорила в письме царица, – что ваше величество, в силу дружеских чувств, питаемых вами к августейшим нашим предкам, не только примете с удовольствием известие об этом благоприятном и благополучном для империи нашей перевороте, но что вы разделите наши намерения и желания во всем, что может послужить к постоянному и нерушиму сохранению и вящему упрочению дружбы, существующей между обоими нашими дворами. Мы же, со своей стороны, во всем продолжение нашего царствования будем этим, как нельзя более, озабочены и с удовольствием воспользуемся всяким удобным случаем уверить ваше величество в этом искреннем и неизменном намерении нашем».

Общее ликование, повторяем, было в Петербурге. Да и немудрено, так как разгар национального чувства, овладевшего русскими в описываемое нами время, дошел до своего апогея. Русские люди видели, что наверху при падении одного немца возникал другой, а дела все ухудшались. Про верховных иностранцев и их деяния в народе ходили чудовищные слухи. Народ говорил, указывая на окна дворца цесаревны:

– Петр Великий в Российской империи заслужил; орел летал да соблюдал все детям своим, а дочь его оставлена.

Всем нравилось, что Елизавета отказывалась от браков с иностранцами и постоянно жила в России. Ходили слухи, что иноземные временщики преследовали ее. Действительно, ей давали мало средств; при ней состоял урядник, который следовал за ней даже по городу. Ее двор был скромн и состоял из русских – Алексея Разумовского, братьев Шуваловых и Михаила Воронцова. Сама цесаревна превратилась из шаловливой красавицы в грустную, но ласковую женщину величественного вида. Она жила с чарующей простотой и доступностью, одна каталась по городу. Все в ней возбуждало умиление народа, даже гостинодворцы не брали с нее денег за товары. Чаще всего ее видели в домике у казарм, где она крестила детей у рядовых и ублажала родителей крестников, входя даже в долги. Гвардейцы называли ее не иначе как «матушкой». Понятна, таким образом, радость народа и солдат.

Особенно радовалась рота преображенцев. Она была названа «лейб-компанией», что напоминало «надворную пехоту» Софии. Каждый рядовой стал дворянином и получил деревню с крестьянами. В вышедшем манифесте было сказано, что цесаревна «восприняла отеческий престол, по просьбе всех верных подданных, особливо лейб-гвардии полков».

Люди, страдавшие при двух Аннах, были осыпаны милостями. Над недавними государственными людьми был назначен суд, и 11 января 1742 года утром по всем петербургским улицам с барабанным боем было объявлено, что на следующий день, в 10 часов утра, будет совершена казнь «над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка».

С самого раннего утра толпы народа начали собираться на Васильевском острове, на площади перед зданием коллегии. Астраханский полк окружал эшафот, на котором видне-

лась плаха. Арестанты рано утром из крепости были привезены в здание коллегии, откуда в десять часов их уже выводили на площадь.

Первым появился Остерман, которого по причине болезни ног везли в извозничьих саних в одну лошадь. На нем был небольшой парик, черная бархатная фуражка и старая короткая лисья шуба, в которой обыкновенно сидел он у себя дома.

За Остерманом шли: Миних, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тимирязев. Когда они все были поставлены в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и внесли на эшафот на стуле. Ему был прочитан приговор. Он обвинялся в утайке духовной Екатерины I и в намерении выдать замуж цесаревну Елизавету за убогого иностранного принца. После прочтения приговора солдаты положили Остермана на пол лицом вниз, палачи обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор.

В эту минуту читавший ранее приговор секретарь провозгласил:

– Бог и государыня даруют тебе жизнь.

При этих словах солдаты подняли его и отнесли в сани, где он и оставался все время, пока объявляли приговоры другим. Всем им было объявлено помилование без возведения на эшафот. Когда народ увидал, что ненавистных немцев не казнили, «то встало волнение, которое должны были усмирять солдаты».

Остермана сослали в Березов, Миниха – в Пелым. На пути в Сибирь Миних встретился с возвращавшимся Бироном. Соперники-временщики молча раскланялись. Анну Леопольдовну с мужем отправили в Холмогоры, где она умерла через пять лет. Иван VI был заключен в Шлиссельбургскую крепость.

На приближенных Елизаветы Петровны посыпались милости. Особенно награжден был Алексей Григорьевич Разумовский. В самый день восшествия на престол он был пожалован в действительные камергеры и поручики лейб-кампании, в чине генерал-лейтенанта. Немедленно был отправлен в Малороссию офицер с каретами, богатыми уборами и собольими шубами за семейством нового камергера.

В ответ на расспросы офицера, по приезде в Лемеш, о том, где живет госпожа Разумовская, удивленные крестьяне отвечали:

– В нас з роду не було такой пани; але, коли бажаєте, хата Розумихи-вдовы.

Несмотря на петербургский случай своего старшего сына, Наталья Демьяновна продолжала слыть между соседями только Розумихой и по-прежнему содержала в Лемешах корчму, что, впрочем, в Малороссии не имело унижительного значения. Захваченная врасплох, она не хотела верить словам офицера и отвечала ему:

– Пане ясновельможный, ты хлопец добрый, не глузуй з мене, що я тобі подняла?

Известие о переменах в Петербурге еще не доходило до Лемеш, а все самые блестящие представления старушки о величии сына до того далеки были от внезапно поразившей ее действительности, что нетрудно понять ее недоверчивость. Наталья Демьяновна собралась с сыном Кириллом, дочерьми, внуками и внучатами, родными, двоюродными и пустилась в путь-дорогу.

За несколько станций до Петербурга навстречу матери выехал Алексей Григорьевич. Наталью Демьяновну напудрили, подрумянили, нарядили в модное платье и повезли во дворец, предупредив ее, что она должна пасть на колени перед государыней. Едва простая старушка вступила в залы дворцовые, как очутилась перед большим зеркалом, во всю величину стены. Отроду ничего подобного не видевшая, Наталья Демьяновна приняла себя за императрицу и пала на колени.

Елизавета Петровна радушно встретила старушку и, говорят, между прочим, сказала ей:

– Благословенно чрево твое!

Наталья Демьяновна со всем своим семейством поселилась во дворце. Но модные платья и наряды не пришлись ей по сердцу. Она отбросила фижмы, робы и самары, выкинула мушки и снова облеклась в свое малороссийское платье. Дворец и придворная жизнь были не по ней. Она строго придерживалась старых обычаев и среди роскоши дворца страдала тоскою по родине.

Не забыт был милостями и Герман Лесток – участник переворота. В первые дни своего царствования императрица наградила его по-царски. Помимо большого жалованья, он получал за каждый раз, когда пускал кровь Елизавете Петровне, по две тысячи рублей. Императрица пожаловала ему свой портрет, осыпанный бриллиантами.

Новая императрица между тем спешила короноваться. 1 января она обнародовала манифест об имеющем последовать в апреле месяце того же года своем короновании. 23 февраля Елизавета Петровна выехала из Петербурга и 26-го числа, в начале часа пополудни, приехала в село Всесвятское, находившееся в семи верстах от Москвы. 28 февраля имела торжественный въезд в древнюю столицу. Для этого торжественного въезда были сделаны четверо триумфальных ворот. Первые на Тверской улице у Земляного города – от Московской губернии, вторые в Китай-городе – от Святого Синода, третьи на Мясницкой, у Земляного города, – от московского купечества и четвертые на Яузе, близ одного из дворцов императорских. В десятом часу императрица приехала из Всесвятского в Тверскую-Ямскую слободу, где пересела в парадную карету и начала въезд в порядке, мало отличавшемся от въездов более позднего времени.

XV. Коронация Елизаветы Петровны

В Успенском соборе новгородский архиепископ Амвросий (Юшкевич) встретил императрицу Елизавету Петровну глубоко прочувствованной патриотической речью, в которой оратор картинно описывал прежнее жестокое могущество немцев в нашем отечестве и открытие вместе с Елизаветой новой, чисто русской национальной эры в России.

После посещения соборов Архангельского и Благовещенского императрица опять села в парадную карету и тем же порядком отправилась к зимнему своему дому, что на Яузе. Когда она подъехала к триумфальным синодальным воротам, то ее здесь встретили сорок воспитанников Славяно-греко-латинской академии. Они были одеты в белые платья с венцами на головах и с лавровыми ветвями в руках и пропели императрице кантату, восхвалявшую ее и наступившее с нею благодатное время для России.

Днем коронации назначено было 25 апреля. В комиссию о коронации отпущено пятьдесят тысяч рублей да, кроме того, на фейерверк девятнадцать тысяч. 23 апреля императрица переехала из зимнего своего дома в Кремлевский дворец.

В коронации первенствующую роль среди священнодействующего духовенства играл Амвросий, архиепископ Новгородский. Во время самой церемонии мантию и корону императрица возлагала на себя сама. Первенствующий архиерей подносил ей то или другое на подушках, что, собственно, и составляет отличие коронования императрицы Елизаветы от предшествующей коронации. Императрица Елизавета венчалась короной императрицы Анны.

Непосредственно после совершения коронования, перед началом литургии, архиепископ Амвросий приветствовал новокоронованную государыню длинной речью. После миропомазания императрица была введена архиереями во святой алтарь и причастилась святых тайн от первенствующего архиерея по чину царскому. Во время шествия императрицы из Успенского собора в Архангельский сопровождавший ее канцлер, по примеру предшествовавших коронаций, бросал по обе стороны пути золотые и серебряные жетоны. В то же самое время отправлено было несколько чиновников, верхом на богато убранных лошадях, для того чтобы бросать в народ жетоны. Высокопоставленным лицам, собравшимся в Грановитой палате, императрица раздавала выбитые по случаю ее коронации медали сама из своих рук; другим, менее знатным, раздавал канцлер. Тут же был объявлен длинный список высочайших наград по случаю коронации. Перед торжественным обедом в Грановитой палате, и особенно после него, императрица несколько раз подходила к окнам палаты и сама бросала в народ золотые и серебряные жетоны.

Для ознаменования дня своей коронации императрица Елизавета Петровна почему-то предпочтительное внимание обратила на распространение медалей, выбитых по этому случаю. Было выбито несколько разрядов медалей с различными рисунками и неодинаковой ценности. Были золотые медали в шестьдесят червонных, которые предназначались для раздачи послам иностранных держав; медали золотые в тридцать пять червонных давались придворным особам обоого пола первого класса; золотые медали в тридцать червонных давались архиереям, членам Синода и светским особам второго класса; золотые медали в двадцать червонных получили епархиальные архиереи, находившиеся при коронации, и светские особы третьего класса; медали в пятнадцать червонных получили епархиальные архиереи, бывшие в своих епархиях, и первоклассные, бывшие при коронации, архимандриты и светские особы четвертого класса. Были еще медали в десять червонных, которые давались светским особам пятого класса и рядовым архимандритам. Серебряные медали раздавались лицам, имеющим низшие чины. Они были разных достоинств: в двадцать четыре золотника, в восемнадцать и в двенадцать золотников.

На коронационных медалях на одной стороне находился портрет государыни, на другой тоже портрет государыни с изображением промысла Божия в легком облаке, возлагающего на нее корону, а внизу надпись: «Коронована в Москве в 1742 году». У жетонов с одной стороны была оттиснута корона с надписью кругом: «Благодать от Вышнего», на другой надпись: «Елизавета императрица, коронована в Москве в 1742 году».

26 апреля императрица принимала в Грановитой палате поздравления от высшего духовенства, иностранных послов и других высших лиц. Празднование коронации продолжалось в течение целой недели, причем весь город, особенно Кремль, по ночам всегда был иллюминирован самым роскошным образом.

29 апреля императрица переехала, при торжественной и парадной обстановке, из Кремлевского дворца снова в свой зимний дом, что на Яузе. На пути из Кремля, у синодальных ворот, императрицу приветствовали все синодальные члены, окруженные толпой в двадцать человек студентов Славяно-греко-латинской академии, которые и на этот раз были одеты в белые одеяния, держали в руке ветви и на голове лавровые венки.

Первого, третьего и четвертого мая в императорском зимнем доме на Яузе давались блестящие балы для высших придворных чинов. Особенным украшением этих балов служила итальянская музыка. В столовой зале дворца на время балов устроен был посредине изящный бассейн, извергавший несколько фонтанов. Столы отличались также редким убранством. На них ставились искусственные пирамиды из конфет и разные оранжерейные растения. С восьмого мая открылся при дворе целый ряд маскарадов, которые продолжались до 25-го числа.

Двадцать девятого мая при дворе был особый бал, на котором играла итальянская оперная труппа.

Коронационные празднества закончились только седьмого июня. Тогда же, в знак окончания торжеств, весь город был иллюминирован. Для народа были выставлены на площадях бочки с белым и красным вином и жареные быки, начиненные птицами. Всего было в избытке, и народ веселился и славил матушку царицу, которая при самом вступлении на престол вспомнила о нем, а именно первым делом сложила с подушного склада по 10 копеек с души на 1742 и 1743 года, что составило более миллиона рублей.

Милости императрицы посыпались на ее приближенных. Алексей Григорьевич Разумовский, несший в церемонии шлейф государыни, был пожалован обер-егермейстером и получил (помимо Александровской ленты) знаки ордена Святого Андрея Первозванного, и, кроме того, ему из собственных императрицыных и сосланного Миниха вотчин были пожалованы множество сел и деревень.

Казалось, трудно бы было ожидать большего. В течение нескольких месяцев бывший пастух общественных стад достиг высших степеней государственного чиновничества, но судьба готовила ему новое, дотоле немыслимое в России положение при дворе. Не будем, впрочем, забежать вперед.

Не забыты были и другие. Андреевский орден получили: генерал-фельдмаршал князь Василий Васильевич Долгорукий, генерал Салтыков, князь Николай Трубецкой, сенатор Александр Потемкин... Воронцов и Шувалов получили орден Александра Невского. Другим пожалован графский титул, каковы: Григорий Чернышев, Петр Бестужев-Рюмин.

Таким образом, царствование Елизаветы Петровны началось необыкновенно милостиво. Еще ранее коронации, при вступлении на престол, состоялось бессмертное распоряжение императрицы об отмене смертной казни.

15 декабря 1741 года появился манифест о всемилостивейшем прощении преступников и о снятии штрафов и начетов с 1719 по 1739 год. Тогда же государыня возвратила из ссылки много сосланных в прошедшее царствование и наградила чинами, орденами и именными многими близких своих людей: Румянцева, Чернышева, Левашева, Бестужева-Рюмина,

Куракина, Головина, Петра и Александра Шуваловых, Воронцова и других. Многим полкам была дана денежная награда; например, солдаты Преображенского полка получили 12 тысяч рублей. Семеновский и Измайловский – по 9 тысяч рублей, конный – 6 тысяч рублей. Гренадерская рота, как мы уже говорили, получила название «лейб-кампании», капитаном которой была сама императрица: капитан-поручик этой роты равнялся полному генералу, два поручика – генерал-лейтенантам, два подпоручика – генерал-майорам, прапорщики – полковникам, сержанты – подполковникам, капралы – капитанам. Унтер-офицеры, капралы и рядовые были пожалованы в потомственные дворяне. В гербах их внесена надпись: «За ревность и верность».

Так были награждены при вступлении на престол и по случаю коронации приближенные лица и те, которые способствовали перевороту в ночь на 25 ноября 1741 года, но императрица не позабыла и остальных своих подданных.

По случаю коронации все и менее знатные опальные прошлого царствования были возвращены из ссылки и из разного рода заключений. Императрица знала хорошо и то, что прежде очень много людей разного звания и состояния ссылалось невинно, и потому вскоре после своей коронации, 27 сентября 1742 года, обнародовала следующий указ: «Ее Императорскому Величеству сделалось известно, что в бывшие правления некоторые лица посланы в ссылки в разные отдаленные места государства, и об них, когда, откуда и с каким определением посланы, ни в Сенате, ни в Тайной канцелярии известия нет, где обретаются неведомо; потому Ее Императорское Величество изволила послать указы во все государство, чтобы где есть такие неведомо содержащиеся люди, оных из всех мест велеть прислать туда, где будет находиться Ее Императорское Величество, и с ведомостями когда, откуда и с каким указом присланы».

Вступив на престол, Елизавета Петровна, конечно, вспомнила о своем любимце, сосланном за нее в дальнюю Камчатку – Алексею Яковлевиче Шубине. С великим трудом отыскивали его там в 1742 году, в одном камчадальском чуме. Посланцы искали его всюду, но никак не могли найти. Когда его ссылали, то не объявили его имени, а самому ему запрещено было называть себя кому бы то ни было под угрозой смертной казни. В одной юрте посланный, отыскивая ссыльного, спрашивал нескольких бывших тут арестантов, не слыхали ли они чего-нибудь про Шубина. Никто не дал положительного ответа. Потом, разговорясь с арестантом, посланный упомянул имя Елизаветы Петровны.

– Разве Елизавета царствует? – спросил тогда один из ссыльных.

– Да, вот уже более года, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол, – отвечал посланный.

– Но чем вы меня удостоверите в истине? – спросил ссыльный.

Офицер показал ему подорожную и другие бумаги, в которых было написано имя императрицы.

– В таком случае Шубин, которого вы отыскиваете, перед вами, – сказал арестант.

Его перевезли в Петербург, где 2 марта 1743 года он был произведен «за невинное претерпение» прямо в генерал-майоры лейб-гвардии Семеновского полка и получил Александровскую ленту. Императрица пожаловала ему богатые вотчины, в том числе и село Работки на Волге, что в нынешнем Макарьевском уезде Нижегородской губернии.

Шубин недолго оставался при дворе. Камчатская ссылка совершенно расстроила его здоровье. Он предался набожности, дойдя до аскетизма, и просил увольнения от службы. На это увольнение согласились быстро главным образом потому, что бывший любимец, конечно, не мог быть приятен новому, имевшему в то время громадную силу при дворе, – Алексею Григорьевичу Разумовскому.

Получив отставку, Шубин поселился в пожалованных ему Работках. На прощанье императрица Елизавета Петровна подарила ему драгоценный образ Спасителя и часть ризы

Господней. То и другое и теперь сохраняется в церкви села Работок. В этом селе передается из поколения в поколение предание о милостях императрицы Елизаветы Петровны к бывшему тамошнему помещику.

Вскоре после коронации покинула Петербург, несмотря на просьбы сына, и Наталья Демьяновна Разумовская. Она уехала с дочерьми, оставив младшего сына и старшую внучку при дворе. По возвращении в Малороссию она поселилась около села Адамовки, в одном из хуторов, пожалованных Алексею Григорьевичу. Здесь она выстроила себе усадьбу, которую назвала Алексеевщиной, с домом и при доме устроила церковь.

XVI. Тайный брак

Возвеличенный необычайно и на пути к еще большему величию, пожалованный графством, Алексей Григорьевич Разумовский чувствовал, как мало подготовлен он к своему положению и как необходимо было ему окружить себя людьми, которые могли бы вывести его из той затруднительной обстановки, в которую уже и в описываемое нами нехитрое и невзыскательное время беспрестанно ставило его совершенное отсутствие всякого образования. По счастью, у Разумовского в выборе людей было какое-то особенное природное чутье: почти все при нем служившие были людьми замечательными.

Первым, как по давности знакомства с Разумовским, так и по влиянию, которое он постоянно имел на всю их семью, был Григорий Николаевич Теплов, сын истопника в псковском архиерейском доме, отчего и получил он фамилию Теплова, и воспитанник знаменитого Феофана Прокоповича. Первоначальное образование получил он в школе, учрежденной Феофаном при Александро-Невской лавре, а потом долгое время учился за границей. Он вернулся оттуда в 1736 году, поступил в Академию наук и пристроился к Артемию Петровичу Волинскому, который никогда, по свидетельству Гельбига, не покровительствовал невежеству. С необыкновенной ловкостью выпутался он из-под суда во время гибели Волинского, перешел к занятиям ученым, назначен переводчиком при академии, а в 1741 году адъютантом.

Тут он стал искать покровительства у нового временщика и сделался необходимым в доме Разумовского. От своего воспитателя Теплов наследовал большую ученость, соединенную с весьма широкими понятиями о том, как обходиться с людьми сильными и как обхождение с ними согласовать со степенью их силы.

Другая личность, состоявшая при Алексее Григорьевиче, была Василий Евдокимович Ададуров, ученик Миллера, один из первых воспитанников академической гимназии в Петербурге и первый адъютант из русских в российской Академии наук. Он также довершил воспитание свое за границей и первый составил грамматику русского языка. Ададуров был при Разумовском чем-то вроде секретаря.

Третьим был Александр Петрович Сумароков, генерал-адъютант при Разумовском, дослужившийся до бригадирского чина. Его известность началась под крылом Алексея Григорьевича.

Наконец, таким же адъютантом при графе Разумовском, и особенно к нему приближенным, был Иван Перфирьевич Елагин, несомненно, один из честнейших и образованнейших людей своего времени.

Теплову и Ададурову поручен был брат Алексея Григорьевича, Кирилл Григорьевич, по приезде в Петербург, где до 1743 года начальным учением старался он, под их руководством, пополнять свое воспитание.

Таковы были окружавшие графа Алексея Григорьевича Разумовского люди.

В Москве, во время описанных нами коронационных торжеств, произошло событие, небывалое в русской истории, доставившее графу Разумовскому исключительное положение при императрице, положение, которое не занимал ни до него, ни после него ни один из временщиков русских.

Хитрый и ловкий, граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин еще при Анне Леопольдовне вызван был из ссылки, куда попал по делу Бирона, и снова привлечен к общественной деятельности благодаря совершенному отсутствию всякого серьезного дарования между людьми, державшими бразды правления. Один он был опытен в делах и умел владеть пером. Государыне он был неугоден, но умел хорошо излагать свои мысли на бумаге и объясняться по-французски и по-немецки. По необходимости его удержали при делах.

Несмотря, однако, на свой ум и ловкость, Бестужев никогда не сумел приобрести вполне благорасположение императрицы. Ему не доставало той живости в выражениях, которая нравилась государыне, в обхождении его была какая-то натянутость, а в делах мелочность, которая была ей особенно противна. Бестужев был настолько хитер, чтобы сразу понять, как необходима была для него при дворе сильная подпора. Он ухватился за Разумовского.

Бывший камер-юнкер короля Великобритании Георга I, близко знакомый с английской литературой, хорошо помнил изречение Шекспира: «Слабость, переменчивость – твое имя женщина».

Государыне было всего тридцать три года, она была красавица. В продолжение шестидесяти лет всякие бездомные принцы стекались в Россию со всего света и находили здесь обильную добычу для карманов и честолюбия. Того гляди, какой-нибудь принц – искатель приключений, вроде инфанта Португальского, принца де Конти, принцев Гессен-Гомбургских или, наконец, графа Маврикия Саксонского, приглянется императрице и, чего доброго, наденет «и венец, и бармы Мономаха». Тогда конец всем честолюбивым замыслам Бестужева, тогда, пожалуй, опять на сцену выйдет Остерман, и место великого канцлера, на которое уже метил Алексей Петрович, придется променять на хижину в Березове.

Едва Бестужев занял место вице-канцлера, как уже против него образовалась сильная партия. Все сторонники союза с Францией и Пруссией восстали, когда он предложил тесную связь с Австрией.

Лесток, по заступничеству которого Бестужев был снова призван к деятельности, теперь вместе с де ла Шетарди стал во главе его противников, к числу которых принадлежали Воронцов, князь Трубецкой, принц Гомбургский, Шувалов и другие – все люди и сильные и знатные при дворе. Удержаться одному Бестужеву не было возможности. Он сблизился с Алексеем Григорьевичем и вскоре сделался его лучшим другом. Но этого было недостаточно. Надо было еще сделать узы, соединившие Разумовского с государыней, неразрывными.

Бестужев стал искать себе помощников в этом деле и скоро нашел их в духовнике Федоре Яковлевиче Дубянском и в епископе Юшкевиче. Духовенство, принадлежавшее к русской партии, во имя которой Елизавета Петровна взшла на престол, только что успело свободно вздохнуть от гнета, под которым долгое время оно томилось.

Во все царствование Анны Иоанновны Феофан Прокопович нещадно преследовал Стефана Яворского и приверженцев «Камня Веры». С большой ловкостью припутал он к их убеждениям интриги иезуитов. Главною же их виной было то, что они иностранцев называли «человечками или людишками», высказывали мысль, довольно, впрочем, верную, что «государство их питает», да, кроме того, еще и всех сплошь протестантов, из которых «многое число честные особы при дворе и в воинских и гражданских чинах рангами высокими почтены и служат, неправдою и неверностью помарали».

С воцарением Елизаветы Петровны русская партия взяла решительный перевес. Во главе ее стал духовник императрицы Дубянский, к которому она особенно благоволила, человек весьма умный и ловкий царедворец, но при дворе разыгравший роль простачка, что давало ему еще большую силу, так как никто из царедворцев его не опасался. Один только Бестужев сумел разгадать его. Благодаря Дубянскому, все изгнанные в царствование Анны Иоанновны иерархи – Лев Юрлов Воронежский, Варлаам Вантович Киевский и другие были освобождены из заключения и архиерейский сан был им возвращен.

С кафедры в присутствии императрицы стали сыпаться самые сильные обвинения и ругательства против иностранцев. Громко стали говорить о чудесах, бывших при гробе святителя Дмитрия Ростовского, искреннего друга Яворского. Но все могло измениться.

Не все иностранцы еще были сокрушены. Лесток и де ла Шетарди в высшей степени пользовались доверием государыни.

Следовало постоянно иметь при самодержице такое лицо, которое было бы предано духовенству и на заступничество которого можно было вполне и всегда рассчитывать.

Таким из всех был Алексей Григорьевич Разумовский. Искренно благочестивый, он, как малоросс, принадлежал к партии автора «Камня Веры», сторонники которой были по большей части украинцы и белорусы. Призренный в младенчестве духовенством, возросший под крылом его в рядах придворных певчих, он взирал на него с чувством самой искренней и глубокой благодарности и был предан всем своим честным и любящим сердцем. Власть гражданская сошлась с властью духовною.

Уговорить богомольную и отчасти суеверную государыню было нетрудно: духовник имел всегда к ней доступ, и она охотно прислушивалась к словам его.

Все это произошло в Москве. Тайный брак был совершен осенью 1742 года в подмосковном селе Перове. Обряд венчания совершил Дубянский. С этих пор государыня особенно полюбила Перово. Она одарила церковь дорогой утварью, богатыми ризами и воздухами, шитыми золотом и жемчугом собственной ее работы.

Возвращаясь с Алексеем Григорьевичем в Кремль дорогою, по улице Петровке, против церкви Воскресения в Барашах, Елизавета Петровна вспомнила, что после венчания не было отслужено молебна, велела остановиться, вошла в церковь и отстояла молебен. После молебна она зашла к приходскому священнику и кушала у него чай.

В память этого события над церковью в Перове и церковью Воскресения в Барашах, которая была роскошно обновлена императрицей, поставлены были над крестами вызолоченные императорские короны, а на месте, где находился дом священника, возведены были, по ее же приказанию, графом Разумовским богатые палаты, подаренные Елизаветой Петровной Разумовскому. Теперь там помещается 4-я гимназия.

«В возобновлении и украшении храма Воскресения, – говорит граф Снегирев, – участвовали императрица Елизавета Петровна и граф Алексей Григорьевич Разумовский, имевшие к нему особенное благоволение». Предание старожилов к этому прибавляет, что в память благодарственного молебна, по особому случаю петого Елизавете Петровне в этом храме, его глава, по ее повелению, увенчана императорской короной, которая и доньше украшает купол. При ней в верхней церкви был устроен великолепный иконостас с живописными образами, а в нижней пол устлан чугунными плитами, лежавшими дотоле на синодальном дворе.

Влияние Алексея Григорьевича после брака стало огромное. Все его почитали и с ним обращались как с супругом императрицы. Он занимал во дворце комнаты, смежные с апартаментами государыни. Когда он чувствовал себя нездоровым, Елизавета Петровна обедала в его покоях, и он принимал ее и ее приближенных в парчовом шлафроке. Алексей Григорьевич всюду сопровождал государыню, и, как уверяют очевидцы, она даже публично оказывала ему знаки нежности и сама застегивала шубу и поправляла шапку, когда в трескучий мороз они выходили из театра. Одному ему отпускалось рыбное кушанье, в то время, когда государыня и весь двор держали строгий пост, а граф Бестужев принужден был обратиться к патриарху Константинопольскому за разрешением не есть грибное. Одним словом, его положение было совсем особенное, и это положение он удержал до конца жизни императрицы, несмотря на все усилия враждебной ему партии. Царедворцы падали ниц перед всемогущим супругом императрицы.

В своих увеселениях двор подделывался к вкусам Алексея Григорьевича. Благодаря его страсти к музыке, заведена была постоянная итальянская опера, за огромные цены выписывались знаменитые в Европе певцы, «буфоны и буфонши». В штате двора встречались бандуристы и бандуристки и даже «малороссиянки-воспевальщицы». Украинские певчие,

из которых особенно отличался Марко Федоров Полторацкий, пели и на клиросе и на сцене, вместе с итальянцами. На придворных пирах появились малороссийские блюда – одним словом, все украинское было в моде.

Но среди всех упоений такой неслыханной фортуны Разумовский оставался всегда верен себе и своим. На клиросе и в покоях петербургского дворца, среди лемешевского стада и на великолепных праздниках Елизаветы Петровны он был все таким же простым, наивным, несколько хитрым и насмешливым, но в то же время крайне добродушным хохлом, без памяти любившим свою прекрасную родину.

XVII. При дворе

С воцарением Елизаветы Петровны жизнь двора стала отличаться пышными празднествами.

Особы первых двух классов давали маскарады у себя в домах и на приморских дачах. На праздниках этих присутствовала сама императрица. На балы и маскарады собирались в шесть часов, играли в карты и танцевали до десяти, когда императрица с избранными вельможами садилась ужинать. Остальные ужинали стоя.

После ужина опять танцевали до часу или двух пополудни. Хозяин не встречал и не провожал никого, даже императрицу. Кто сидел за картами, те не вставали для нее.

Театральные представления при дворе вошли в моду еще при императрице Анне Иоанновне. Король Август прислал императрице из Дрездена на ее коронацию славившихся там актеров, которые и давали «итальянские интермедии» при дворе. Из присланных отличались актриса Казанова, мать известного авантюриста, и комик-певец Недрилло.

В 1735 году была выписана полная итальянская труппа, под дирекцией композитора Франческо Арайя. Представления давались во дворце и в деревянном театре близ Летнего сада. Места посетителям раздавались бесплатно, по чинам и по званию зрителей.

В следующем году шла новая пьеса «Сила любви и ненависти», драма в трех действиях, переведенная с итальянского, но не имела успеха. В том же году там же исполнялась сказка в лицах «О Яге-бабе», в которой главную роль играл обер-гофмаршал Дмитрий Андреевич Шепелев. В этой оперетке участвовали придворные певчие, набранные в Малороссии; из них отличался прекрасным голосом и искусным пением Виноградский. Он, как уверяли тогда, «удивлял самих итальянцев».

Из исполнявших в это время на театре артистов известны были певцы: Германо, Константин, Вулкано и Пино. Лучшие певицы были: Изабелла и Розина. Императрица, желая разнообразить спектакли, поручила танцмейстеру Ланде, служившему при сухопутном шляхетском корпусе танцевальным учителем, составить из кадетов балет. Из кадетов лучшим танцовщиком считался Чеглоков, впоследствии камергер. Деятельное участие в придворных спектаклях принимал вступивший в русскую службу придворным капельмейстером тогдашняя европейская известность – Франческо Арайя.

Старанием этих артистов с 1737 года на придворном театре была поставлена первая большая опера, или лирическая драма, с неизвестными до того времени совершенством и роскошью. Она называлась «Abiasjare». Опера произвела громадный фурор. Вслед за ней Арайя поставил вторую свою оперу, «Semiramide ol finta Nino». Успех этой оперы был еще значительнее – в течение двух лет ее играли почти каждую неделю.

Елизавета Петровна любила французский язык и говорила на нем с редким совершенством; вскоре этот язык стал при дворе модным. Комедии Корнеля, Расина и Мольера стали давать еженедельно – произведения этих драматургов имели огромный успех. Придворные выучивали их наизусть, декламировали из них целые тирады в обществе и приводили стихи Расина и Мольера даже в простом разговоре, кстати и некстати.

Это не помешало тому, что в начале царствования Елизаветы Петровны – насадительницы всего русского – положено было основание народному русскому театру. Кадеты сухопутного кадетского корпуса: Бекетов, Остервальд, Мелиссино и Свистунов знали хорошо французский язык, разучивали монологи из Расина и Корнеля и декламировали в кругу товарищей. Наконец им пришла мысль во время святок в одном из дортуаров разыграть целую трагедию Корнеля. Молодые актеры-любители представляли перед своими родственниками и корпусными офицерами. Успех был полный. Похвалы зрителей подействовали на самолюбие актеров.

В то время Ломоносов и Сумароков сочиняли уже русские трагедии по образцу французских, и произведения их ходили по рукам читателей. Свистунов и Мелиссино, прочитав трагедию Сумарокова «Семира», решились ее разучить и сыграть. Сумароков был восхищен идеей молодых артистов, охотно стал им помогать, обучая их малознакомой тогда русской декламации. Наконец, трагедия была поставлена, артисты и автор были осыпаны похвалами. На второй спектакль Сумароков пригласил графа Алексея Григорьевича Разумовского. Последнему так понравился русский спектакль, что он расхвалил его императрице. Елизавета Петровна повелела кадетов привести во дворец, и там на малой сцене они продекламировали перед ней «Семиру» и заслужили особенное ее благоволение.

Вслед за первым спектаклем ими были разучены и прочитаны перед императрицей трагедии «Артистона», «Синав и Трувор» – Сумарокова.

Вскоре из Ярославля были выписаны в Петербург первые настоящие русские актеры, которые записаны были придворными и представляли перед императрицей в ее загородном дворце. Лучшими пьесами репертуара первых русских артистов были «Титово милосердие», «Евдокия венчанная», «Хорев» и другие. С прибытием актеров в Петербург первый назначенный им спектакль был «Хорев» – трагедия Сумарокова. Роли распределены были между ними следующим образом: Кия играл Волков, Хорева – Попов, а Оснельду – Нарыков. Предание говорит, что актеры были привезены тайком. Императрица хотела сделать сюрприз для двора.

Придворные, приглашенные на первый спектакль, были вполне уверены, что увидят итальянскую комедию. Государыня сама входила во все подробности спектакля; она приказала артистам, игравшим женские роли, выдать из своего гардероба богатые платья. Елизавета Петровна сама наряжала Нарыкова, наколола ему на голову богатую диадему. Прелестная наружность молодого семинариста очень понравилась всем. Государыня нашла, что фамилия Нарыкова для театра неблагозвучна. Необыкновенное сходство с польским графом Дмитриевским поразило императрицу.

– Нет, – говорила она, любуясь юной Оснельдой, – ты не должен носить имени Нарыкова, будь Дмитриевским: он был графом в Польше, ты будешь графом на русской сцене.

Успех первого представления на русском языке был блистательный, и этот спектакль решил окончательно участь русского театра.

На сцену были приняты и женщины: девица Пушкина, дочь музыканта Елизавета Белоградская, танцовщица Зорина, знаменитая Авдотья Тимофеева и две офицерские дочери, Марья и Ольга Ананьины.

Мужской персонал также пополнился, и увеличенная труппа вскоре могла дать на русском языке первую оперу, «Цеваль и Прокрис» Сумарокова, музыка Арайя, а декорации и сюжет создал Валерьяни, получивший пышный титул «первого исторического живописца, перспективы профессора и театральной архитектуры, инженера при императорском российском дворе».

Публичные спектакли исполнялись русской труппой в здании, примыкавшем к летнему дворцу императрицы у Полицейского моста (где теперь дом Елисеева).

Театр был связан коридором с внутренними покоями дворца, и государыня почти каждый вечер приходила прямо в свою ложу и личным своим присутствием поощряла старания русских артистов.

На этом театре особенный успех имели комедии Мольера: «Тартюф, или Лицемер» и «Дворянящийся купец» («Мещанин по дворянству»). Первый тогдашний директор театра посвятил даже первой пьесе следующее двустишие:

Мольеров лицемер до тех пор не падет
В трех первых действиях, доколь пребудет свет.

Эта пьеса обставлялась необыкновенно парадно и стоила значительных издержек по тогдашнему времени. Об этом даже извещала афиша, гласившая следующее: «Во время представления сей комедии, сочиненной господином Мольером, славным французского театра комиком, в рассуждении большого спектакля, великого числа людей, как-то: певцов, певиц, музыкантов, танцовщиков и танцовщиц, поваров, портных, подмастерьев и других действующих в интермедии лицедеев, балетов и богатых декораций на театре, за вход была двойная против обыкновенного цена».

Так весело и шумно жилось в первые годы царствования императрицы Елизаветы Петровны.

Русские люди и у ступеней трона, и в низших слоях, сбросив с себя невыносимый немецкий гнет, дышали полною грудью и веселились от души.

Отсутствие немецкого гнета чувствовалось и в провинциях, вдали от Петербурга, куда мы и перенесемся.

XVIII. На берегу пруда

Прошло восемь лет с того, вероятно, не забытого читателями разговора в домике по Басманной улице в Москве между майором Иваном Осиповичем Лысенко с его закадычным другом и товарищем Сергеем Семеновичем Зиновьевым.

Стояло чудное июльское после полудня. На берегу пруда в небольшом, но живописном именье княгини Вассы Семеновны Полторацкой, находившемся в Тамбовском наместничестве, лежал, распростершись на земле, юноша лет шестнадцати, в форме кадета паже-ского корпуса. Это был сын Ивана Осиповича – Осип, гостивший, по обыкновению, летом в именье княгини Полторацкой, куда несколько раз в лето наезжал и его отец. Юноша лежал, устремив мечтательный взор своих чудных черных глаз в лучистую синеву неба, и в этих глазах выражалось что-то вроде раздирающей душу тоски.

Вдруг к пруду приблизились легкие шаги, почти неслышные на мягкой лесной почве, а в кустах раздался тихий шорох, подобный шелесту шелкового платья. Из-за деревьев небольшой рощи, примыкавших к берегу пруда, бесшумно выскользнула женская фигура и неподвижно остановилась, не спуская глаз с лежавшего юноши.

– Ося!

Молодой человек вздрогнул и быстро вскочил. Он вовсе не знал ни этого голоса, ни этой женщины.

– Что вам угодно?

Тонкая, дрожащая рука быстро опустилась, как бы предостерегая, на его руку.

– Тише! Не так громко! Нас могут услышать, но мне надо переговорить с тобой наедине, с тобой одним, Ося!..

Она рукой указала в другую сторону небольшого пруда, где за росшими кустарниками слышались веселые голоса, а затем отступила и жестом пригласила его последовать за ней. Одно мгновение юноша колебался. Каким образом эта незнакомка, судя по одежде, принадлежавшая к высшему кругу общества, очутилась здесь, около уединенного лесного пруда? И что означает это «ты» в устах особы, которую он видел первый раз? Однако таинственность этой встречи показалась молодому человеку заманчивой. Он последовал за дамой.

Они прошли в глубь рощи, в такое место, откуда их нельзя было видеть. Незнакомка медленно откинула вуаль. Она была не особенно молода, лет за тридцать, но лицо ее, с темными, жгучими глазами, обладало своеобразной прелестью. Такое же очарование было в ее голосе. Хотя она и понижала его почти до шепота, но в нем все-таки слышались глубокие, мягкие ноты. Она говорила по-русски совершенно бегло, но с иностранным акцентом, что доказывало, что этот язык не был ей родным.

– Ося, взгляни на меня! Ты на самом деле не знаешь меня? У тебя не сохранилось ни малейшего воспоминания из дней детства, которые бы подсказали тебе, кто я?

Мальчик медленно покачал отрицательно головой. Но все-таки в нем проснулось воспоминание, неясное, неуловимое, – воспоминание о том, что он не в первый раз слышит этот голос, видит это лицо. Смущенный и точно прикованный к месту, он не сводил глаз с незнакомки, которая вдруг протянула к нему обе руки.

– Мой сын! Мое единственное дитя!.. Неужели ты не узнаешь своей матери?

Молодой человек отступил.

– Моя мать умерла, – сказал он с расстановкой.

Незнакомка горько засмеялась.

– Вот как! Меня объявили умершей! Тебе не хотели оставить даже воспоминания о матери! Это неправда, Ося, я жива, я стою перед тобой. Посмотри на мои черты, ведь они и твои также. Дитя мое, неужели ты не чувствуешь, что принадлежишь мне?..

Юноша все еще стоял неподвижно и смотрел на лицо, в котором мало-помалу находил полнейшее подобие своего: те же черты, те же густые, синевато-черные волосы, те же большие, как ночь темные глаза. Даже странное демоническое выражение, горевшее пламенем во взоре матери, таилось, как море, в глазах сына. Сходство говорило о родстве крови, и наконец голос крови заговорил в Осипе Лысенко. Он не требовал дальнейших объяснений и доказательств. Прежнее неуловимое, смутное воспоминание детства вдруг прояснилось, и, после короткого колебания, он бросился в объятия, которые раскрывались ему.

– Мама!

В этом восклицании выразилась вся горячая нежность юноши, который никогда не знал, что значит иметь мать, и между тем тосковал по ней со всею страстностью его натуры. Мать! Он был в ее объятиях, она осыпала его горячими ласками, сладкими, нежными именами, которых он никогда еще не слышал. Все прочее исчезло для него в потоке бурного восторга.

Прошло несколько минут. Ося высвободился из объятий Станиславы Феликсовны – это была она.

– Почему же ты никогда не приезжала ко мне? – пылко заговорил он. – Почему мне сказали, что ты умерла?

Станислава Феликсовна отступила на несколько шагов. Выражение нежности в ее глазах исчезло, и взамен вспыхнула дикая, смертельная ненависть.

– Потому, что твой отец ненавидит меня, сын мой, потому, что он не хотел оставить мне даже любви моего единственного ребенка, когда оттолкнул меня от себя.

Ося молчал, ошеломленный. Правда, он знал, что имя матери не произносилось в присутствии отца, помнил, как последний строго и жестко осадил его, когда тот осмелился однажды обратиться к нему с расспросами о матери, но он был еще настолько ребенком, что не раздумывал над причиной этого. Станислава Феликсовна и теперь не дала ему времени на размышление. Она откинула его густые волосы со лба. Точно тень скользнула по ее лицу.

– У тебя его лоб, – медленно произнесла она, – но это единственное, чем ты его напоминаешь: все остальное мое, только мое. Каждая черта доказывает, что ты мой, – я вперед это знала.

Она снова заключила его в свои объятия, на которые он ответил также страстно. Он был просто опьянен счастьем. Все это так походило на самую чудную сказку, какую он мог себе вообразить, и он, ни о чем не спрашивая, ни о чем не думая отдался очарованию. Вдруг возле рощи послышался голос, звавший Осю. Станислава Феликсовна вздрогнула.

– Нам надо расстаться. Никто не должен знать, что я виделась с тобой, главное, не должен знать твой отец!.. Когда ты вернешься к нему?

– Через две недели...

– Через две!.. – повторила она.

В этом восклицании слышалось почти торжество.

– А до тех пор мы с тобой будем видеться ежедневно. Завтра в этот же час будь у пруда, но один, чтобы нам не мешали. Ведь ты придешь, Ося?

– Конечно, мама, но...

Она прервала его и продолжала тем же страстным шепотом:

– Главное, не говори никому, решительно никому, не забывай этого! Прощай, дитя мое, мой единственный любимый сын, до свиданья.

Еще один поцелуй, и она уже юркнула в чащу деревьев так же беззвучно, как и пришла. Да и пора было скрыться.

Тотчас вслед за тем в роще появились две девочки, которые поражали с первого взгляда своим необычайным сходством друг с другом. Всякий принял бы их за сестер-близнецов,

если бы разница в одежде не говорила, что одна из них барышня, а другая служанка. Девочки были лет десяти.

Одна из них была княжна Людмила Полторацкая, а другая Таня Берестова, крепостная девочка княгини Вассы Семеновны. Княгиня овдовела лет десять тому назад и все свои заботы отдала своей только что родившейся дочери, посвящая ей все досуги своей хозяйственной деятельности, считавшейся образцовой среди ее соседей. Княгиня была строга, взыскательна, но справедлива. Она не обременяла крестьян усиленной работой, но и не любила лентяев и дармоедов. Среди дворовых княгини была молодая вдова дворецкого Ульяна Берестова, больная чахоткой, красивая молодая женщина с дочерью Таней. Через несколько лет после смерти князя Полторацкого умерла и Ульяна, и девочка ее осталась круглой сироткой. Княгиня Васса Семеновна приняла в ней чисто материнское участие и позволяла по целым дням играть со своей дочерью.

Поразительное сходство между обеими девочками, видимо, не обращало особенного внимания княгини. Злые языки говорили, что она знала причину этого сходства, а еще более злые утверждали, что из-за этого сходства мать девочки сошла в преждевременную могилу и что в быстром развитии смертельной болезни Ульяны не безучастна была княгиня Васса Семеновна. Как бы то ни было, но девочки были почти погодки и за несколько лет стали задушевными подругами.

Различие между ними, повторяем, было лишь в одежде, так как даже скудное по тому времени образование у священника сельской церкви они получали вместе. Гувернантка-француженка, приставленная к княжне, одинаково передавала премудрость своего языка и бывшей неразлучно с княжной Людмилой Тане.

Княгиня Васса Семеновна Полторацкая жила безвыездно в своем имении, лишь изредка выезжая в Тамбов по хозяйственным надобностям. Связью между нею и Петербургом был ее брат, знакомый нам друг и приятель майора Лысенко – Сергей Семенович Зиновьев, занимавший в то время в петербургской административной сфере далеко не последнее место. Летом он приезжал к сестре, и здесь устраивались свиданья между ним и Иваном Осиповичем Лысенко, сын которого Ося на время летних вакаций всегда отправлялся на побывку к княгине Полторацкой и был желанным гостем в ее доме, как сын задушевного друга ее брата и, наконец, как сын человека, о котором у княгини сохранились более нежные воспоминания.

Несмотря на свои шестнадцать лет, Ося был еще совершенным ребенком, и общество двух десятилетних девочек вполне удовлетворяло его, тем более что они относились к нему с восторженным обожанием, очень льстившим его громадному самолюбию. Надо при этом сознаться, что черненькие глазки грациозной княжны Люды, как звали ее домашние, много значили в отношениях шестнадцатилетнего юноши к своей маленькой подруге. Инстинктивное чувство любви уже зарождалось в сердце молодого человека. Княжна Люда могла и, видимо, имела право обращаться с Осей деспотично, и своенравный и неукротимый для всех сорванец становился при ней послушным исполнителем ее желаний.

«Жених и невеста» – так прозвали Осю и Люду в доме Полторацких, и, видимо, обоим детям было далеко не противно это прозвище. Эта-то Люда со своей служанкой-подругой Таней и появилась в роще.

– Отчего ты не отвечаешь? Я звала уже три раза. Уж не спал ли ты? У тебя такой вид, будто ты только что видел сон.

Ося на самом деле стоял точно ошеломленный и дико смотрел в ту сторону, куда скрылась его мать. Через несколько минут только он повернулся к девочкам и провел рукою по лбу.

– Да, я видел сон! – ответил он медленно. – Станный, чудесный сон!

– Как не стыдно спать днем! – укоризненно сказала княжна Люда, видимо не поняв ответа молодого Лысенко.

XIX. Роковая встреча

Отцы Лысенко и Зиновьева с давних пор были в дружеских отношениях. Как соседи по имениям, они часто виделись. Дети их росли вместе, и множество общих интересов делали все крепче эту дружескую связь. Так как они обладали весьма небольшим состоянием, то сыновьям их пришлось по окончании ученья самостоятельно пролагать себе дорогу в жизни. Иван Осипович и Сергей Семенович так и сделали.

Они были товарищами детских игр и, возмужав, остались верны старой дружбе, даже чуть не породнились, так как родители их мечтали о союзе молодого Лысенко с Вассой Семеновной. По-видимому, и молодые люди сочувствовали друг другу.

Все шло как нельзя лучше, как вдруг случилось событие, неожиданно положившее конец всем этим планам. За много лет до того один из родственников Зиновьевых по женской линии – Менгден, неисправимый кутила, бежал от долгов из России в Польшу, где и принял должность управляющего в имение одного богатого помещика. По смерти владельца ему удалось получить руку вдовы, и таким образом он снова достиг положения в жизни, которое он когда-то так легкомысленно пустил по ветру.

Лет через пятнадцать после брака он вместе с женой посетил родственников в России, которых не видел более десяти лет. Госпожа Менгден была уже в зрелых летах и давно отцвела; это, однако, не помешало ей иметь от второго брака дочь, двенадцатилетнюю Якобину. Ее сопровождала также дочь от первого брака, Станислава Феликсовна Святторжецкая. Эта молоденькая, едва семнадцатилетняя полька, окруженная ореолом своей своеобразной красоты и прелести и огненного темперамента, засияла как солнце на горизонте наших тамбовских провинциалов, жизнь которых шла до сих пор неспешным, размеренным шагом. Станислава, конечно, выделялась в этом кругу, обычаями и воззрениями которого пренебрегала с равнодушием избалованной повелительницы. В свою очередь, окружающие смотрели на нее как на удивительное явление из какого-то неизвестного им мира. Многие серьезно качали головой и только потому не высказывали вслух свое неодобрение, что считали девушку временной гостьей, которая исчезнет из их кружка так же быстро, как и появилась.

В это время Иван Осипович Лысенко приехал из Тамбова в имение отца и в семье соседей познакомился с их новыми родственниками. Он увидел Станиславу, и судьба его была решена. Им овладела та безумная страсть, которая возникает внезапно, почти с быстротой молнии, походит на какое-то опьянение, одурение и очень часто оплачивается ценой раскаяния во всю последующую жизнь. Забыты были желания родителей и собственные мечты о будущем, забыта спокойная сердечная привязанность, соединявшая его с подругой детства – Вассой. Он не замечал более этого скромного цветка родины, распустившегося тогда во всей юности и свежести, – он вдыхал опьяняющий аромат чудной розы, выросшей под чужим небом, – все остальное исчезло, потонуло в тумане.

Однажды, оставшись наедине со Станиславой, он бросился к ее ногам и признался ей в любви. К удивлению его, чувство не осталось без ответа. Было ли это новым подтверждением старого правила, что крайности сходятся? Действительно ли влекло Станиславу к человеку, который во всех отношениях представлял полную противоположность ее собственной натуре, или, может быть, ее самолюбию льстила мысль, что один ее взгляд, одно слово могло воспламенить серьезного, спокойного и тогда уже несколько мрачного молодого человека? Как бы то ни было, она приняла его предложение, и он заключил ее в объятия, как невесту.

Известие об этой помолвке подняло целую бурю в обеих семьях. Со всех сторон посыпались уговоры и предостережения. Даже мать и отчим Станиславы были против брака, но

общее сопротивление только раздувало страсть молодых людей. Несмотря ни на что, они поставили на своем, и через полгода Иван Осипович Лысенко ввел в свой дом молодую жену.

Люди, пророчествовавшие несчастье их браку, к сожалению, предсказали слишком верно. За коротким опьянением счастья последовало самое горькое разочарование. Со стороны Ивана Осиповича было роковой ошибкой вообразить, что женщина, подобная Станиславе Феликсовне, выросшая в безграничной свободе, привыкшая к беспорядочной, расточительной жизни богатых фамилий в своем отечестве, могла когда-нибудь подчиниться нравственным воззрениям и примириться с общественными отношениями скромных русских провинциалов.

Охотиться по целым часам верхом на полудиком коне в обществе мужчин, знающих только охоту да игру, вести с ними разговоры в самом свободном тоне в своем доме, всегда наполненном толпой гостей, окружать себя всяким блеском, обыкновенно идущим рука об руку со страшным упадком имений, обремененных долгами, – вот жизнь, которую знала до сих пор Станислава Свянторжецкая и которая только и соответствовала ее характеру. Понятие о долге было ей так же чуждо, как все вообще в ее новой обстановке. И эта женщина должна была вести хозяйство в доме молодого военного, в распоряжении которого были весьма ограниченные средства, должна была приноравливаться к общественным отношениям в маленьком городе наместничества. Первые же недели показали, что это невозможно.

Станислава начала с того, что, презирая и здесь принятые приличия, постаралась поставить свой дом на соответствующую ее вкусам ногу и стала самым безумным образом проматывать свое небольшое приданое. Напрасно просил и уговаривал муж – она ничего не хотела слышать. Долг, общественное мнение, предметы, священные в его глазах, в ней возбуждали только насмешки. Его странные, по ее мнению, понятия о чести и приличии заставляли ее только пожимать плечами.

Скоро между ними начались ежедневные бурные сцены, и тогда, когда уже было поздно, Иван Осипович должен был сознаться, что поступил очень опрометчиво. Несмотря на все предостережения, указывающие на различие происхождения, воспитания и характера, он рассчитывал на всемогущество любви. Теперь же он должен был признаться, что только каприз или разве мимолетная страсть, потухшая так же скоро, как и вспыхнувшая, привела Станиславу в его объятия. Теперь она не видела в нем ничего, кроме неудобного спутника жизни, который портил ей всякое удовольствие своим глупым педантизмом и смешными понятиями о чести и всюду ставил ей преграды.

Тем не менее она боялась этого человека, потому что ему всегда удавалось подчинить своей воле ее бесхарактерную натуру. Рождение маленького Оси уже не могло ничего исправить в этом глубоко несчастном союзе. Оно, впрочем, заставило супругов сохранять внешний вид согласия. Станислава Феликсовна страстно любила ребенка и знала, что муж ни за что не отдаст его ей, если дело дойдет до развода. Одно это удерживало ее подле мужа, и Иван Осипович, затаив страдание, терпеливо переносил свою горькую домашнюю жизнь и употреблял все усилия, чтобы скрыть ее от посторонних. Но эти посторонние знали всю правду, знали даже вещи, о которых муж и не подозревал, которые скрывались от него из деликатности.

Года через два после свадьбы полк, в котором служил Иван Осипович Лысенко, переведен был в Москву. В этом-то городе и настал день, когда повязка упала с глаз обманутого мужа и он узнал то, что давно уже не было тайной ни для кого, кроме него.

Следствием этого открытия была дуэль. Противник Ивана Осиповича был тяжело ранен и вскоре умер, а Лысенко был заключен под продолжительный арест, но вскоре, впрочем, выпущен на свободу. Все знали, что оскорбленный супруг защищал свою честь.

В то же время он начал дело о разводе. Станислава Феликсовна не выказала ни малейшего сопротивления. Вообще она не смела даже приблизиться к мужу, так как дрожала перед

ним с того часа, как он потребовал ее к ответу. Но она делала отчаянные попытки удержать за собой ребенка и вела из-за него борьбу не на жизнь, а на смерть. Все оказалось напрасно.

Сын был безусловно отдан отцу, и тот с неумолимой жестокостью не позволял матери даже приближаться к нему. Станиславе Феликсовне ни разу не удалось видеть сына.

Наконец, убедившись, что ничего не добьешься, она вернулась в Варшаву к родственникам – ее мать и отчим умерли в Петербурге, а сводная сестра жила в этом городе и вращалась в придворных сферах. Казалось, Станислава Феликсовна навеки умерла для своего бывшего мужа и вдруг теперь, совершенно неожиданно, снова появилась в России, где ее муж уже занимал довольно видный военный пост.

Прошло около недели со дня первого свидания молодого Лысенко с его матерью. В гостиной княжеского дома Полторацких сидела Васса Семеновна, а напротив нее помещался полковник Иван Осипович Лысенко, только что приехавший из Москвы. Должно быть, предмет разговора был серьезен и неприятен, потому что Иван Осипович мрачно слушал хозяйку. Княгиня говорила:

– Перемена в Осе бросилась мне в глаза уже несколько дней тому назад. Первое время его просто обуздать нельзя было, так что я раз даже пригрозила отослать его домой, и вдруг он совсем повесил голову, не затевал больше никаких глупостей, по целым часам рыскал один по лесу, а возвратившись домой, спал с открытыми глазами, – приходилось положительно будить его. Брат решил, что он начинает делаться благоразумнее, я же сказала: «Дело нечисто, тут что-нибудь да кроется» – и принялась за Люду и Таню, которые тоже казались какими-то странными и, очевидно, были в заговоре. Они, оказывается, застали их в роще, и Осип взял с них слово, что они будут молчать. Девочки действительно молчали. Они признались только тогда, когда я пристала к ним, что называется, с ножом к горлу.

– А Осип? Что он сказал? – неожиданно прервал ее Иван Осипович.

– Ничего, потому что я и не заикалась ему об этом. Он, разумеется, спросил бы меня, почему же ему нельзя видиться с родной матерью, а на такой вопрос может ответить только отец.

– Вероятно, он уже получил ответ, – с горечью произнес Лысенко. – Только едва ли ему сказали правду.

– Вот этого-то я и боялась, а потому, как только узнала всю историю, не теряя ни минуты, известила вас. Что же теперь делать?

– Ну, конечно, я приму меры, – ответил Иван Осипович с деланным спокойствием. – Благодарю вас, княгиня, я точно предчувствовал беду, когда получил ваше письмо, так настоятельно призывавшее меня сюда. Сергей был прав, я ни в каком случае не должен был отпускать от себя сына ни на час; но я надеялся, что здесь, в Зиновьеве, он в безопасности. Осип так радовался поездке, так ждал ее, что у меня не хватило духу отказать ему в ней. Вообще он только тогда весел, когда я далек от него.

В последних словах слышалась глухая боль, но княгиня Васса Семеновна только пожала плечами.

– Не он один виноват в этом, – сказала она. – Я тоже строго веду свою девочку, но тем не менее она знает, что у нее есть мать и что она дорога ей. Осип же не может сказать того же о своем отце, он знает вас только со стороны строгости и неприступности, если бы он подозревал, что в глубине души вы обожаете его...

– То сейчас же воспользовался бы этим, чтобы обезоружить меня своею нежностью и ласками. Неужели мне допустить, чтобы он стал повелевать и мною так же, как всеми, кто только имеет дело с ним? Товарищи слепо повинуются ему, хотя он своими шалостями часто подводит их под наказание. Даже учителя относятся к нему особенно снисходительно. Я единственный человек, которого он боится, а вследствие этого и уважает.

– И вы надеетесь одним страхом справиться с мальчиком, которого мать, без сомнения, осыпает безумными ласками? Не отворачивайтесь, Иван Осипович, вы знаете, что я никогда не произносила при вас имени Станиславы, но теперь, когда она сама явилась сюда, поневоле приходится говорить о ней. Откровенно скажу вам, что ничего иного нельзя было ожидать с тех пор, как она опять здесь. Держать Осю при себе ни к чему не привело бы, потому что шестнадцатилетнего мальчика нельзя уже охранять, как маленького ребенка, – мать нашла бы к нему дорогу. Да в конце концов она и права, и я поступила бы совершенно так же.

– Права! – горячо воскликнул Лысенко. – И это говорите вы, княгиня?

XX. Отец и сын

– Права, несомненно, права, – продолжала княгиня Васса Семеновна. – Это говорю я, потому что знаю, что значит иметь единственного ребенка. То, что вы взяли у нее мальчика, было в порядке вещей: подобная мать не пригодна для воспитания, но то, что теперь, через двенадцать лет, вы запрещаете ей видеться с сыном, – жестокость, внушить которую может только ненависть. Как бы ни была велика ее вина – наказание слишком сурово.

Иван Осипович мрачно смотрел в пол, видимо чувствуя справедливость этих слов. Наконец он медленно произнес:

– Никогда не подумал бы я, что именно вы возьмете сторону Станиславы. Ради нее я когда-то жестоко оскорбил вас, разорвал союз.

– Который вовсе еще не был заключен, – поспешно прервала его княгиня. – Это был план наших родителей, и ничего больше.

– Но мы знали о нем с детских лет, и он нравился нам. Не старайтесь оправдать меня, княгиня, я слишком хорошо знаю, какой вред нанес тогда нам и... себе.

Княгиня Васса Семеновна устремила на него свои ясные карие глаза, которые покрылись влажным блеском.

– Будь по-вашему, Иван Осипович; теперь, когда мы оба давно уже покончили с юностью, я, конечно, могу признаться. Тогда я любила вас, и, вероятно, вы сделали бы из меня не совсем то, чем я теперь стала; я всегда была своевольной девушкой и нелегко поддавалась чьему-нибудь влиянию, но вам я покорилась бы, может быть, вам одному в целом свете. Когда через пять лет после вашей свадьбы я пошла к алтарю с князем Полторацким, судьба решила иначе. Она сделала меня главой семьи, обстоятельства, роковые обстоятельства узаконили это главенство – мой муж вскоре умер. Однако прочь все эти старые, давно прошедшие дела! Я не поставила их вам в вину, вы знаете это: мы, несмотря ни на что, остались друзьями, и если теперь вам нужно мое содействие или совет – я готова.

Она протянула ему руку. Он взял и почтительно поцеловал ее.

– Я знаю это, княгиня, но в таком деле я один могу решать и действовать. Прошу вас, позовите Осипа ко мне. Я поговорю с ним.

Княгиня встала и вышла из комнаты, бормоча на ходу:

– Если только не поздно! Тогда она сумела сделать отца глухим и слепым – теперь, наверное, она овладела уже сыном...

Минут через десять вошел Ося. Он затворил за собой дверь и остановился у порога. Иван Осипович обернулся.

– Подойди ближе, Осип, мне надо переговорить с тобой.

Мальчик послушался и медленно приблизился к отцу. Он знал уже, что Тане и Люде пришлось покаяться и что его встречи с матерью стали известны, но робость, с которой он обыкновенно приближался к отцу, уступила сегодня место нескрываемому упорству. Это не ускользнуло от Ивана Осиповича. Он окинул долгим, мрачным взглядом красивую юношескую фигуру сына.

– Мой внезапный приезд, кажется, не удивляет тебя! – начал он. – Ты, может быть, даже знаешь, что привело меня сюда.

– Да, отец, я догадываюсь.

– Хорошо, в таком случае мы обойдемся без предисловия. Ты узнал, что твоя мать жива, она являлась к тебе, и ты встречаешься с ней – я все это знаю. Когда ты увидел ее в первый раз?

– Полторы недели тому назад...

– И с тех пор говорил с ней ежедневно?..

– Да, у лесного пруда...

Вопросы и ответы с обеих сторон были одинаково сдержанны и коротки. Сын привык к этой строгой военной манере даже в разговорах с отцом, потому что тот не терпел лишних слов, ни колебания, ни уклонения в ответах. И сегодня Иван Осипович держался того же тона: он должен был скрыть от неопытного глаза сына свое мучительное волнение. Сын, в самом деле, видел только серьезное, неподвижно-спокойное лицо, слышал в голосе только холодную строгость.

Лысенко продолжал:

– Я не упрекаю тебя, потому что ничего не запрещал тебе в этом отношении; вопрос об этом пункте никогда даже не поднимался между нами. Но если дело зашло так далеко, я должен нарушить молчание. Ты считал свою мать умершей, и я допустил эту ложь, потому что хотел избавить тебя от воспоминаний, которые отравили мою жизнь: по крайней мере, твоя молодость должна была быть свободна от них. Это оказалось невозможным, а потому ты должен узнать теперь правду.

Иван Осипович на минуту остановился. Человеку с таким щекотливым чувством чести легче было бы перенести пытку, чем рассказывать собственному сыну о таком деле, но выбора не было – он должен был говорить.

– Еще молодым офицером я страстно полюбил твою мать и женился на ней против воли своих родителей, которые не ждали никакого добра от брака с женщиной другой религии. Они оказались правы: брак был в высшей степени несчастным и кончился разводом по моему требованию. Я на это имел неоспоримое право, закон отдал сына мне. Более я не могу тебе сказать, потому что не хочу обвинять мать перед сыном. Удовольствуйся этим.

Хотя объяснение это было коротко и звучало жестко, но произвело на молодого Лысенко странное впечатление: отец не хотел обвинять перед ним мать, перед ним, который ежедневно выслушивал от нее самые горькие жалобы и обвинения против отца. Станислава Феликсовна, само собой разумеется, свалила всю вину в разводе на мужа и его неслыханное тиранство. В своем сыне она нашла даже чересчур жадного слушателя, так как его необузданная натура с трудом переносила строгость отца. И все-таки немногие серьезные слова последнего действовали сильнее, чем все страстные излияния матери. Мальчик инстинктивно почувствовал, на чьей стороне правда.

– А теперь к делу, – продолжал Иван Осипович. – Что было содержанием ваших ежедневных бесед?

Осип, вероятно, не ожидал подобного вопроса. Густой румянец залил его лицо. Он молчал и глядел в пол.

– А, вот как, ты не смеешь повторять их мне! Но я все-таки хочу знать, отвечай, я приказываю!

Но мальчик все молчал и только еще крепче сжал губы. Глаза его с выражением мрачного упорства встретились со взглядом отца, который встал с кресла и подошел к нему совсем близко.

– Ты не хочешь говорить? Может быть, ты получил приказание молчать? Все равно, твое молчание говорит мне больше, чем слова; я вижу, какое отчуждение ко мне уже успели тебе внушить, ты будешь совсем потерян для меня, если я предоставлю тебя этому влиянию еще хоть ненадолго. Встречи с матерью больше не повторятся, я запрещаю их тебе; ты сегодня же уедешь со мной домой и останешься под моим надзором. Кажется ли тебе это жестоким или нет – так должно быть, и ты будешь повиноваться.

Но Иван Осипович заблуждался, полагая, что сын, как всегда, покорится простому приказанию. В последние дни мальчик побывал в такой школе, где ему самым систематическим образом внушалось сопротивление отцу.

– Отец, этого ты не можешь и не должен мне приказывать! – горячо возразил он. – Она мне мать, которую я наконец нашел и которая одна в целом свете любит меня. Я не позволю отнять ее у меня так, как ее отняли у меня раньше. Я не позволю принудить себя ненавидеть ее только потому, что ты ее ненавидишь! Грози, наказывай, делай что хочешь, но на этот раз я не буду повиноваться, я не хочу повиноваться.

Весь необузданный, страстный темперамент юноши вылился в этих словах. Неприятный огонь снова пылал в его глазах, руки были сжаты в кулаки. Он дрожал всем телом под влиянием дикого порыва возмущения. Очевидно, он решил начать борьбу с отцом, которого прежде так боялся. Но взрыва гнева отца, которого ожидал сын, не последовало. Иван Осипович смотрел на него серьезно и молчал с выражением немого упрека по взгляде.

– Одна в целом свете любит тебя! – медленно повторил он. – Ты, верно, забыл, что у тебя есть еще отец?

– Который не любит меня! – крикнул мальчик тоном, переполненным горечью. – Только теперь, когда я нашел свою мать, я знаю, что такое любовь.

– Осип!

Мальчик совсем опешил при звуке этого странного, дрожащего от боли голоса, который он слышал в первый раз. Горячая речь, готовая уже снова политься, замерла на его устах.

– Потому, что ты никогда не видел от меня нежностей, потому, что я воспитывал тебя серьезно и строго, ты сомневаешься в моей любви, – продолжал отец тем же тоном. – А знаешь ты, чего стоила мне эта строгость с единственным любимым ребенком?

– Отец!

Это восклицание звучало еще робко и нерешительно. Но это была уже не прежняя робость, не страх. В голосе его слышалось что-то вроде зарождающейся симпатии и радостного недоверчивого изумления. Глаза сына, прикованные, не отрывались от глаз отца, который положил руку на его плечо и тихонько притягивал его к себе.

– Когда-то у меня было честолюбие, были гордые надежды на жизнь, великие планы и намерения. Со всем этим я покончил, когда меня поразили этот удар – от него мне никогда не оправиться. Если я еще живу и борюсь, то, кроме сознания долга, меня побуждает к этому только одно: мысль о тебе, Осип! В тебе все мое честолюбие, сделать твою будущность счастливой и великой – вот все, чего я еще требую от жизни. И она может быть великой, Осип, потому что твои способности не из обыкновенных, а твоя воля тверда и в дурном и в хорошем. Но есть и другие, опасные качества в твоей натуре, составляющие твоё несчастье, а не вину; они должны быть подавлены, если ты не хочешь, чтобы они пересилили тебя и повергли в бездну горя. Я обязан был быть строгим, чтобы обуздать эти опасные наклонности, но нелегко мне это было.

Лицо мальчика пылало. Задыхаясь, следил он за губами отца, как будто читал на них его слова. Наконец, он произнес шепотом, за которым чувствовался с трудом скрываемый восторг:

– Я не смел до сих пор любить тебя, ты был всегда так холоден, так неприступен, и я...

Он остановился и снова взглянул на отца, который обвил его плечо рукою и еще крепче прижал к себе. Их взгляды глубоко проникали в душу друг другу, и голос до сих пор такого сдержанного человека, как Лысенко, прерывался, когда он тихо произнес:

– Ты мое единственное дитя, Осип! Единственное, что мне осталось от мечты и счастья, которые исчезли, как сон, а взамен явилось разочарование и горечь. Тогда я многое потерял и все вынес; но если бы мне пришлось потерять тебя – я не перенес бы этого.

Сын, рыдая, бросился к отцу на грудь, а отец крепко обвил сына руками, как будто хотел удержать его навсегда. В этом горячем, страстном объятии все остальное было ими забыто. Оба забыли, что между ними грозно стояла тень, выступившая из прошедшего, разлучая их. Они оба совершенно не заметили, что дверь комнаты тихонько приотворилась и точно так же

опять закрылась. Осип все еще обнимал отца. Вся его робость и сдержанность сразу исчезли и уступили место бурной нежности. Он был увлекательно-мил, и может быть, отец не без основания опасался, чтобы эти ласки не лишили его твердости. Иван Осипович ничего не говорил, но время от времени целовал сына в лоб и не сводил глаз с прелестного, полного жизни лица, которое он крепко прижимал к груди.

Наконец сын тихо произнес:

– А... моя мать?

По лицу отца, казалось, пробежала тень, но он не выпустил сына из объятий.

– Твоя мать покинет Россию, как только убедится, что ты и впредь будешь оставаться вдали от нее, – отвечал он на этот раз без всякой жесткости в голосе, но совершенно твердо. – Ты можешь писать ей; я позволяю переписку с известными ограничениями, но личные встречи я не могу и не должен допускать.

– Отец, подумай...

– Я не могу, Осип, это невозможно!

– Неужели ты до такой степени ненавидишь ее? – с укором спросил юноша. – Ты пожелал развод, а не она, – я узнал это от самой матери.

Губы Ивана Осиповича вздрогнули. Горькие слова у него были на языке. Он хотел возразить, что развод был восстановлением чести, но взглянул на темные вопросительные глаза сына, и слова замерли на его устах. Он не был в состоянии доказывать сыну виновность матери.

– Оставь этот вопрос, – мрачно ответил он. – Я не могу отвечать на него. Может быть, впоследствии ты сам поймешь и оценишь мотивы, руководившие мною; теперь я не могу избавить тебя от тяжелой необходимости сделать выбор – ты должен принадлежать кому-нибудь одному из нас, с другим надо расстаться. Покорись этому не рассуждая, как воле судьбы...

Юноша опустил голову. Он почувствовал, что в настоящую минуту он ничего более не добьется. Он, конечно, знал раньше, что встречи с матерью прекратятся с возвращением его в корпус. Отец дозволил переписку, это была милость, на которую он не смел даже надеяться.

XXI. Честное слово

– Я скажу это матери, – ответил Осип Лысенко убитым тоном. – Теперь, когда ты все знаешь, я, конечно, могу открыто идти к ней.

Иван Осипович остолбенел. Он совершенно не подумал о возможности такого вывода.

– Когда же ты хочешь видетсья с нею?

– Сегодня же у пруда. Она, наверное, уже там.

Иван Осипович боролся сам с собою. Что-то в глубине души предостерегало его, убеждало не допускать этого свиданья, и в то же время он сознавал, что было бы жестоко запретить его.

– Вернешься ты через два часа? – спросил он после довольно продолжительной паузы.

– Конечно, отец, даже раньше, если ты потребуешь.

– Так иди, – сказал он с глубоким вздохом.

Очевидно, ему было очень трудно уступить чувству справедливости и дать согласие на свидание.

– Как только ты вернешься, мы поедem домой: ведь и без того твои каникулы приходят к концу.

Мальчик, уже собиравшийся идти, вдруг остановился. Слова отца снова напомнили ему то, о чем он было совсем забыл в последние полчаса, – гнет ненавистной службы, опять ожидавшей его. До сих пор он не смел открыто высказывать свое отвращение к ней, но этот час безвозвратно унес с собою всю его робость перед отцом, а с нею сорвалась и печать молчания с его уст. Следуя вдохновению минуты, он воскликнул и снова обвил руками шею отца.

– У меня к тебе просьба, – прошептал он, – большая, большая просьба, которую ты непременно должен исполнить; я знаю, ты согласишься, в доказательство того, что ты действительно любишь меня.

Между бровями Ивана Осиповича появилась складка. Он спросил с легким упреком:

– А, ты требуешь еще доказательств? Ну, посмотрим.

Сын еще крепче прижался к отцу. Его голос звучал той неотразимо-нежной лаской, благодаря которой отказать ему в просьбе было почти невозможно, а темные глаза выражали горячую мольбу.

– Позволь мне не быть военным, отец! Я не люблю дела, которому ты меня посвятил, и никогда не полюблю его. Если до сих пор я покорялся твоей воле, то лишь с отвращением, с затаенным гневом; я чувствовал себя безгранично несчастным, только не смел признаться тебе в этом.

Складка на лбу отца углубилась. Он медленно выпустил сына из объятий.

– Другими словами, ты не хочешь повиноваться! – произнес он жестким тоном. – А тебе это нужнее, чем кому бы то ни было.

– Но я не могу выносить принуждений, – страстно возразил мальчик, – а военная служба не что иное, как постоянное принуждение, каторга! Всем повинуйся, никогда не имей собственной воли, изо дня в день покоряйся дисциплине, неподвижно застывшей форме, которая убивает малейшее самостоятельное движение. Я не могу больше переносить этого! Все мое существо рвется к свободе, к свету и жизни. Отпусти меня, отец! Не держи меня больше на привязи: я задыхаюсь, я умираю.

Он не мог бы хуже защищать свое дело перед человеком, который был и душой и телом солдат. В последних неосторожных словах еще слышалась бурная, горячая просьба, рука Осипа еще обвивала шею отца, но тот вдруг выпрямился и оттолкнул его от себя.

– Я полагал, что военная служба вовсе не каторга, что быть военным – это честь! – резко ответил он. – Хорошо, нечего сказать, что мне приходится напоминать об этом родному сыну. Свобода, свет, жизнь! Уж не думаешь ли ты, что в шестнадцать лет имеешь право очертя голову броситься в водоворот жизни и упиваться всеми ее благами? Для тебя эта именно свобода была бы только распушенностью, твоей погибелью.

– А если бы так! – воскликнул юноша совершенно вне себя. – Лучше погибать на свободе, чем продолжать жизнь в такой неволе! Для меня служба – цепи, рабство...

– Молчать! Ни слова больше! – крикнул Иван Осипович так грозно, что мальчик замолчал, несмотря на свое странное возбуждение. – У тебя нет более выбора, потому что ты уже на службе и принял присягу; горе тебе, если ты забудешь это! Сначала ты должен получить офицерский чин и в качестве офицера исполнить свой долг, как и все твои товарищи, когда же ты достигнешь совершенных лет, я уже не буду иметь власти над тобой – выходи, если хочешь, в отставку, но для меня известие о том, что мой единственный сын уклонился от военной службы, будет смертельным ударом.

– Отец, неужели ты принимаешь меня за труса? – воскликнул юноша. – Если бы во время войны, в сражении...

– Тогда ты был бы безумно смел и слепо бросился бы в опасность; ты действовал бы на свой страх, который знать не хочет дисциплины, и своеволием погубил бы себя и всех своих подчиненных. Знаю я это дикое, безмерное стремление к свободе и жизни, которое знать не хочет никаких границ и ни во что не ставит долг, знаю я, от кого наследовал ты его и к чему оно ведет. А потому я буду держать тебя «на привязи», все равно, ненавидишь ли ты ее или нет. Ты должен научиться покоряться, пока еще не ушло время, и ты научишься – даю тебе слово!

Его голос звучал непреклонно и сурово. Ни малейшего следа нежности и мягкости не осталось в его лице, и сын хорошо знал своего отца, чтобы еще раз попробовать просить или настаивать. Он ничего не ответил, но в глазах его вспыхнула демоническая искра, отнимавшая у них всю красоту, а на крепко сжатых губах появилось лукавое, злое выражение. Он молча повернулся и направился к двери. Иван Осипович следил за ним глазами. В душе его вдруг шевельнулось снова как бы предчувствие какого-то несчастья. Он окликнул сына:

– Осип, ведь ты вернешься через два часа, ты даешь честное слово?

– Да, отец!

Ответ был произнесен сердито, но твердо.

– Хорошо, я смотрю на тебя как на взрослого и согласен отпустить тебя на честное слово. Будь же точен.

Через несколько минут после ухода молодого Лысенко в комнату вошел Сергей Семенович Зиновьев.

– Ты один? – удивленно спросил он. – Я не хотел мешать тебе, но только что увидел, как Осип быстро пробежал через сад. Куда это он отправился так поздно?

– К матери, проститься с нею.

Зиновьев остолбенел от удивления при таком известии.

– С твоего согласия? – быстро спросил он.

– Конечно, я позволил ему.

– Какая неосторожность! Ты только что по опыту узнал, как Станислава умеет поставить на своем, а теперь опять оставляешь сына на ее произвол.

– На какие-нибудь полтора часа. Я не мог отказать ему в этом прощальном свидании. И чего ты боишься? Уж не насилия ли с ее стороны? Осип не ребенок, которого можно отнести на руках в экипаж и увезти, несмотря на его сопротивление.

– А если он не будет сопротивляться?

– Он дал мне слово возвратиться через два часа... – выразительно сказал Иван Осипович.

Зиновьев пожал плечами.

– Слово шестнадцатилетнего мальчика...

– Который воспитан для военной службы и потому знает, что такое честное слово. Это совсем не беспокоит меня, мои опасения клонятся совсем в другую сторону.

– Сестра сказала мне, что вы наконец поладили... – заметил Сергей Семенович, бросая взгляд на сильно омраченное лицо друга.

– На несколько минут, а потом мне опять пришлось быть строгим, суровым отцом. Именно этот час показал мне, какая трудная задача покорить и воспитать такую необузданную натуру; но что бы там ни было, а я пересилил его.

Сергей Семенович подошел к окну и стал смотреть в сад.

– Уже смеркается, – заметил он, – а до лесного пруда, по крайней мере, полчаса быстрой ходьбы. Если это свидание неизбежно, то ты должен был допустить его только в моем присутствии.

– Чтобы еще раз встретиться с Станиславой. Это невозможно. Этого я не хотел и не мог требовать.

– А если это прощанье кончится иначе, нежели ты предполагаешь! Если Осип не вернется?

– В таком случае он был бы негодяем, изменником своему слову, дезертиром, так как он уже состоит на службе. Не оскорбляй меня подобными предположениями, Сергей! Ведь ты говоришь о моем сыне.

– Осип также сын Станиславы. Впрочем, не будем спорить, тебя ждут в столовой. Ты хочешь уехать сегодня же?

– Да, через два часа, – твердо и спокойно отвечал Иван Осипович. – К этому времени Осип вернется, я за это ручаюсь.

Сергей Семенович печально улыбнулся, но не сказал ничего. Оба друга отправились в столовую.

На полях и в лесу уже ложились серые тени летних сумерек. Вдоль берега лесного пруда беспокойно двигалась взад и вперед женская фигура, закутанная в теплый плащ.

Станислава Феликсовна не обращала внимания на спускавшуюся сильную росу, все существо ее было полно лихорадочного ожидания. Она напрасно прислушивалась, не раздаются ли шаги. Кругом было все тихо.

С того дня, когда девочки застали их в роще вдвоем и они были принуждены посвятить их в тайну, Станислава Феликсовна назначала свиданья по вечерам, когда около пруда и в роще было совершенно пустынно. Но они все-таки расставались до наступления сумерек, для того чтобы позднее возвращение Осипа не возбудило в ком-нибудь подозрения. До сих пор Осип всегда был аккуратен, а сегодня мать ждала уже напрасно целый час. Задержал ли его случай или же их тайна была открыта?

С тех пор как о ней знали не они вдвоем, надо было постоянно ожидать катастрофы. Вокруг в роще царствовала могильная тишина, нарушаемая шорохом шагов ходившей тревожно по траве женщины. Под деревьями уже стали ложиться тени, а над прудом, где было еще светло, колебались облака тумана. По ту сторону пруда лежал луг, скрывавший своей обманчивой зеленью топкое болото. Там туман клубился еще гуще, серовато-белая масса его поднималась с земли и, волнуясь, расстилалась дальше. Оттуда несло сыростью.

Наконец послышался слабый звук шагов, сначала совсем вдали, но они приближались к пруду со страшной быстротой. Скоро показалась стройная фигура юноши.

Станислава бросилась ему навстречу. Через минуту сын был в ее объятиях.

– Что случилось? – спросила она, по обыкновению осыпая его бурными ласками. – Отчего ты так поздно? Я уже потеряла надежду видеться с тобою сегодня! Что задержало тебя?

– Я не мог прийти раньше, – с трудом отвечал Осип, задыхаясь от быстрой ходьбы, – я прямо от отца.

Станислава Феликсовна вздрогнула.

– От отца? Так он знает?

– Все!

– Он в Зиновьеве?.. С каких пор? Кто известил его?

Мальчик наскоро рассказал, что случилось. Не успел он кончить, как горький смех матери прервал его.

– Понятно, все они в заговоре, когда дело идет о том, чтобы отнять у меня мое дитя! А отец? Он, конечно, опять сердился, грозил и заставил тебя тяжелой ценой купить страшное преступление – свидание с матерью.

Юноша покачал головой.

Воспоминание о той минуте, когда отец привлек его к себе на грудь, было еще светло в его памяти, несмотря на горечь заключительной сцены.

– Нет, – тихо сказал он. – Но он запретил мне видеться с тобою и неумолимо требует нашей разлуки.

– Тем не менее ты здесь! О, я знала это.

В тоне этого восклицания слышалось почти ликование.

– Не радуйся слишком рано, мама, – с горечью произнес мальчик. – Я пришел только проститься с тобою.

– Осип!

– Отец знает об этом, он позволил мне пойти проститься, а потом...

– А потом он снова возьмет тебя к себе, и ты будешь снова потерян для меня? Не так ли?

Мальчик не отвечал.

Он обеими руками охватил мать, и дикое, страшное рыдание вырвалось из его груди, рыдание, в котором было столько же гнева и горечи, сколько страдания.

– Ты плачешь? – произнесла Станислава Феликсовна, крепко прижимая к себе сына. – Я давно все предвидела; даже если дети нас не видели бы, все равно в день отъезда из Зиновьева к отцу ты был бы поставлен в необходимость или расстаться со мной, или решиться.

– Но что решиться?.. Что ты хочешь сказать? – с изумлением спросил сын.

XXII. Искусительница

Станислава Феликсовна нагнулась к сыну и, хотя они были одни, понизила голос до шепота.

– Неужели ты без всякого сопротивления подчинишься насилию, позволишь разорвать священную связь между матерью и ребенком и попать ногами нашу любовь? Если ты допустишь это сделать, в твоих жилах нет ни капли моей крови – ты не мой сын.

– Мама! – воскликнул мальчик.

– Он послал тебя проститься со мною, а ты терпеливо покоряешься да еще принимаешь его позволение за величайшую милость с его стороны, – перебила его Станислава Феликсовна. – Ты в самом деле пришел проститься со мной навсегда, в самом деле?

– Я должен! – с отчаянием прервал ее сын. – Ты знаешь отца и его железную волю, разве есть какая-нибудь возможность противиться ей...

– Если ты вернешься к нему, то нет, но кто же заставляет тебя возвращаться?..

– Мама! Ради бога! – с ужасом воскликнул он, но руки матери еще крепче охватили его, а горячий, страстный шепот продолжал раздаваться над его ухом.

– Что так пугает тебя в этой мысли? Ведь ты только пойдешь за матерью, которая безгранично тебя любит и с той минуты будет жить исключительно тобой. Ты часто жаловался мне, что ненавидишь военную службу, к которой тебя принуждают, что с ума сходишь от тоски по свободе; если ты вернешься к отцу, выбора уже не будет: отец неумолимо будет держать тебя в оковах; он не освободил бы тебя, даже если бы знал, что ты умрешь от горя.

Ей не было надобности уверять в этом сына. Он знал это лучше ее. Всего какой-нибудь час назад он имел случай убедиться в непреклонности отца. В его ушах еще раздавались последние суровые слова:

– Ты должен научиться покоряться и научишься.

Его голос стал почти беззвучным от горечи, когда он отвечал.

– И все-таки я должен вернуться, я дал слово быть дома через два часа.

– В самом деле! – резко и насмешливо произнесла Станислава Феликсовна. – Так я и знала! То тебя считали не более как мальчиком, каждым шагом которого надо руководить; за тебя рассчитывали каждую минуту, ты не смел иметь ни одной самостоятельной мысли, теперь же, когда дело идет о том, чтобы тебя удержать, за тобой вдруг признают самостоятельность взрослого человека.

Она нервно захохотала. Сын со страхом и недоумением смотрел на нее.

– Ну, хорошо, – продолжала она, – так покажи же, что ты взрослый не только на словах – действуй как взрослый! Вынужденное обещание не имеет никакой силы: разорви же невидимую цепь, на которой тебя хотят удержать, – освободись...

– Нет, нет, – бормотал сын, возобновляя попытку вырваться из ее рук.

Но попытка эта была неудачна. Мать крепко держала его в объятиях.

– Пойдем со мной, Осип, – говорила она тем нежным, неотразимым тоном, который делал ее, как и сына, чуть не всемогущей. – Я давно все предвидела и все подготовила; ведь я знала, что день, подобный сегодняшнему, настанет. В получасе ходьбы отсюда ждет мой экипаж, он отвезет нас на ближайшую почтовую станцию, и раньше, чем в Зиновьеве догадаются, что ты не вернешься, мы уже будем с тобой далеко, далеко...

– Нет, мама, нет, это невозможно...

Станислава Феликсовна, не слушая его, продолжала:

– Там свобода, жизнь, счастье! Я введу тебя в широкий вольный свет, и только тогда, когда ты узнаешь его, ты вздохнешь полной грудью и почувствуешь радость освобожденного из темницы узника.

– Мое слово, мама, мое слово...

Как бы не замечая возражений сына, мать продолжала:

– Я знаю, каково бывает на душе у такого счастливица, ведь и я носила цепи, которые сама сковала себе в безумном ослеплении; но я разорвала бы их в первый же год, если бы не было тебя. О, как хороша свобода! Ты на собственном опыте убедишься в этом.

Она прекрасно умела найти дорогу к желанной цели. Свобода, жизнь, счастье! Эти слова отзывались тысячным эхом в груди юноши, в котором до сих пор насильственно подавляли бурное стремление ко всему тому, что ему предлагала мать. Как светлая, очаровательная картина, залитая волшебным сиянием, стояла перед ним жизнь, которую рисовала ему Станислава Феликсовна. Стоило протянуть руку – и она была его.

– Мое слово... – еще продолжал бормотать он.

– Это ловушка...

– Отец будет презирать меня, если...

Она перебила его:

– Если ты достигнешь великой и славной будущности? Тогда явись к нему и спроси, осмелится ли он презирать тебя. Он хочет удержать тебя на земле, тогда как природа дала тебе крылья, которые уносят тебя под облака. Он не может понять твоей натуры, никогда не поймет. Неужели ты хочешь погибнуть из-за простого обещания?

– Но, мама...

– Пойдем со мной, Осип, со мной, для которой ты все! Пойдем на свободу.

Она увлекала его прочь, медленно, но неудержимо. Правда, некоторое время он еще противился, но вырваться ему не удалось. Под влиянием мольбы и нежности матери последний остаток сопротивления постепенно ослабел. Он последовал за ней. Через несколько минут у пруда было совершенно пусто. Мать и сын исчезли.

В то время, когда у берега лесного пруда происходило описанное нами объяснение между матерью и сыном, в столовой княгини Вассы Семеновны хозяйка дома, ее брат и полковник Иван Осипович Лысенко, казалось, спокойно вели беседу, которая совершенно не касалась интересующей всех троих темы. Эта тема была, конечно, разрешенное отцом свидание сына с матерью. Иван Осипович не касался этого предмета, а другим было неловко начинать в этом смысле разговор.

Сергей Семенович иногда серьезно, с искренним сожалением поглядывал на своего друга. В душе у него сложилось полное убеждение, что мать одержит победу над сыном и что последний не вернется. Княгиня Васса Семеновна думала то же самое, хотя и не успела объясниться с братом ни одним словом по этому вопросу. И брат и сестра слишком хорошо знали Станиславу Феликсовну.

Время шло. Иван Осипович, видимо, сильно нравственно ломавший себя, стал нервно двигаться на стуле и чутко прислушиваться к малейшему шуму, долетавшему из сада. Поднявшийся легкий ветерок шелестел деревьями, и только. Густые сумерки стали ложиться на землю. Слуги зажгли в столовой огни.

Назначенные отцом сыну два часа миновали. Разговор между тремя собеседниками еще продолжался, но все чаще и чаще стал обрываться не только на полуфразе, но и на полуслове. Напряженное состояние духа собеседников достигло высшей степени. Его совершенно неожиданно разрешил Иван Осипович.

– Лошади, вероятно, готовы... – вдруг встал он.

– Лошади...

– Какие лошади?..

Это повторение слов невольно сорвалось с губ и брата и сестры. Иван Осипович мрачно посмотрел на них.

– Лошади, которые могли бы меня отвезти в Тамбов, а оттуда в Москву. Мне, как я уже говорил, необходимо уехать сегодня же, я и так заговорился с вами и опоздал на целый час.

– А сын? – невольно вырвалось у Сергея Семеновича.

– У меня нет сына, – ледяным голосом произнес Иван Осипович.

Княгиня Васса Семеновна переглянулась с братом, но оба они не сказали ни слова. Они хорошо поняли, что Иван Осипович убедился сам, что сын нарушил данное им слово и перешел на сторону матери. Тогда действительно он мог считаться погибшим для отца. Тогда действительно у Ивана Осиповича не было больше сына.

– У меня нет сына!

Эта фраза, казалось, так и осталась висеть в атмосфере комнаты, атмосфере тяжелой и неприветной, какая чувствуется лишь тогда, когда в доме произносят роковое слово «умер». Все трое стояли несколько минут как окаменелые. Первая прервала эту томительную паузу княгиня Васса Семеновна, дернув сонетку.

– Вели подавать лошадей... – приказала она явившемуся лакею.

Иван Осипович стал прощаться. С почтительностью и с какой-то особой нежностью поцеловал он руку хозяйки дома. Прощанье с другом было, видимо, для него тяжелее. Он нервно обнял его, несколько раз поцеловал и тотчас отвернулся. От прозорливого Сергея Семеновича не ускользнула предательская слезинка, появившаяся на реснице Ивана Осиповича. Последний, впрочем, резким движением головы смахнул ее и твердой, ровной походкой вышел в переднюю, а затем на крыльцо, у которого уже позвякивала бубенцами и колокольчиками княжеская тройка сытых лошадей с блестящей шерстью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.